

Владимир Владимирович Набоков
Рассказы «русского» периода, не вошедшие в сборники

Аннотация

Содержание:

- *Нежить*
- *Слово*
- *Случайность*
- *Драка*
- *Бритва*
- *Рождественский рассказ*
- *Удар крыла*
- *Месть*
- *Пасхальный дождь*
- *Венецианка*
- *Дракон*
- *Наташа*
- *Вошебник*

В. Набоков

Рассказы «русского» периода, не вошедшие в сборники

1. НЕЖИТЬ

Я задумчиво пером обводил круглую, дрожащую тень чернильницы. В дальней комнате пробили часы, а мне, мечтателю, померещилось, что кто-то стучится в дверь, – сперва тихохонько, потом все громче; стукнул двенадцать раз подряд и выжидательно замер.

– Да, я здесь, войдите...

Ручка дверная застенчиво скрипнула, склонилось пламя слезящейся свечи, и он бочком вынырнул из прямоугольника мрака – согнутый, серый, запорошенный пылью ночи мягкой и звездистой...

Знал я лицо его – ах, давно знал!

Правый глаз был еще в тени, левый пугливо глядел на меня, продолговатый, дымчато-зеленый; и зрачок рдел, как точка ржавчины... А этот мшисто-серый клок на виске, да бледно-серебристая, едва приметная бровь, – а смешная морщинка у безусого рта, – как это все дразнило, бередило смутно память мою!

Я встал – он шагнул вперед.

Худое пальтишко застегнуто было как-то не так – по-женски; в руке он держал шапку – нет, темный, неладный узелок, – шапки-то не было вовсе...

Да, конечно, я знал его – даже, пожалуй, любил, – только вот никак придумать не мог, где и когда мы встречались, а, верно, встречались мы часто, иначе я не запомнил бы так твердо вон этих бруснично-красных губ, заостренных ушей, кадыка забавного...

С приветливым бормотаньем я пожал его легкую, холодную руку, тронул спинку дряхлого кресла. Он сел, как ворона на пень, и заговорил торопливо:

– Так жутко на улицах. Я и зашел. Зашел проведать тебя. Узнаешь? Мы ведь с тобой, бывало, что ни день резвились вместе, аукались... Там – на родине... Неужто забыл?

Голос его словно ослепил меня, в глазах запестрело, голова закружилась; я вспомнил счастье, гулкое, безмерное, невозвратное счастье...

Нет, не может быть! Я – один... Это все – лишь бред прихотливый! Но рядом со мной и вправду кто-то сидел костлявый, нелепый, в ушастых немецких сапожках, и голос его звенел, шелестел, золотой, сочно-зеленый, знакомый, а слова были все такие простые, людские...

– Ну вот – вспомнил... Да, я – прежний Леший, задорная нежить... А вот и мне пришлось бежать...

Он вздохнул глубоко, и почудилось мне вновь – тучи шатучие, высокие волны листвы, блестящие бересты что брызги пены, да вечный, сладостный гул... Он нагнулся ко мне, мягко заглянул в глаза.

– Помнишь лес наш, ель черную, березу белую? Вырубили... Жаль было мне нестерпимо; вижу, березки хрустят, валяются, а чем помогу? В болото загнали меня, плакал я, выл, выпью бухал – да скоком-скоком в ближний бор.

Тосковал я там; все отхлипать не мог... Только стал привыкать – глядь, бора и нет – одно сизое гарево. Опять пришлось побродяжить. Подыскал я себе лесок – хороший лесок был, частый, темный, свежий, – а все как-то не то... Бывало, от зари до зари играл я, свистал неистово, бил в ладоши, прохожих пугал... Сам помнишь: запутался ты однажды в глуши моей – ты и белое платице, – а я тропинки в узел связывал, стволы кружил, мигал сквозь листву – всю ночь проморочил... Но я так только, шутки ради, даром что чернили меня... А тут я присмирел; невеселое было новоселье... Днем и ночью вокруг все трещало что-то. Сперва я думал – свой брат, леший там тешится; окликнул, прислушался. Трещит себе, громыхает – нет, не по-нашему выходит. Раз, под вечер, выскочил я на прогалину вижу, лежат люди – кто на спине, кто на брюхе. Ну, думаю, поразбужу их, расшевелю! Стал я ветвями встряхивать, шишками лукаться, шуршать, гукать... Битый час провозился – все ни к чему. А как ближе взглянул, так и обмер. У того голова на одной красной ниточке висит, у того вместо живота – ворох толстых червей... Не вытерпел я. Завыл, подпрыгнул и давай

бежать...

Долго я скитался по лесам разным, а все житья нет. То тишь, пустыня, скука смертная, то жуть такая, что и лучше не вспоминать! Наконец решился: в мужичка перекинулся, в бродягу с котомкой, да и ушел совсем: прощай, Русь! Ну а там, мне братец мой, Водяной пособил. Тоже, бедняга, спасался. Все дивился он: времена, говорит, какие настали – просто беда. И то сказать: он хоть и встарь баловался, людей там заманивал (уж очень был гостеприимен), да зато как лелеял, как ласкал их у себя на золотом дне, какими песнями чаровал! А нынче, говорит, все только мертвецы плывут, видимо-невидимо, а влага речная что руда, густая, теплая, липкая; дышать нечем... Он меня и взял с собой. Сам-то в дальнем море мыкается, а меня на туманный бережок по пути высадил – иди, брат, найди себе кустик. Ничего я не нашел и попал сюда в этот чужой, страшный, каменный город... Вот и стал я человеком, воротнички, сапожки, все как следует – даже научился говорить по-ихнему...

Он приумолк. Глаза его блестели, как мокрые листья, руки скрещены были, и в зыбком отблеске заплывшей свечи странно-странно мерцали бледные волосы, налево зачесанные.

– Я знаю, ты тоже тоскуешь, – снова зазвенел яркий голос, – но твоя тоска, по сравнению с моею буйной, ветровою тоской, – лишь ровное дыханье спящего. И подумай только: никого из племени нашего на Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие разбрелись по миру. Родные реки печальны, ничья резвая рука не расплескивает лунных заблестков, сиротеют, молчат случайно не скошенные колокольчики – прежние голубые гусли легкого Полевого, соперника моего. Косматый, ласковый Постен покинул, плача, твой опозоренный, оплеванный дом, и зачахли рощи, умиительно-светлые, волшебнo-мрачные рощи...

А ведь мы вдохновенье твое, Русь, непостижимая твоя красота, вековое очарованье... И все мы ушли, изгнанные безумным землемером.

Друг, я скоро умру, скажи мне что-нибудь, скажи, что любишь меня, бездомного призрака, подсядь ближе, дай руку...

Зашипев, погасла свеча. Холодные пальцы коснулись ладони моей, грустный, знакомый смех прозвенел и умолк.

Когда я зажег свет, уж никого в кресле не было... никого... Только в комнате чудесно-тонко пахло березой да влажным мхом...

Впервые рассказ был опубликован в газете "Руль" (Берлин) 7 января 1921 г.

2. СЛОВО

Унесенный из дольной ночи вдохновенным ветром сновиденья, я стоял на краю дороги, под чистым небом, сплошь золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя, глянец, углы и грани громадных мозаичных скал, и ослепительные пропасти, и зеркальное сверканье многих озер, лежащих где-то внизу, за мною. Душа была схвачена ощущеньем божественной разноцветности, воли и вышины: я знал, что я в раю. Но в моей земной душе острым пламенем стояла единая земная мысль – и как ревниво, как сурово охранял я ее от дыханья исполинской красоты, окружившей меня... Эта мысль, это голое пламя страданья, была мысль о земной моей родине: босой и нищий, на краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных, и ветер, как предчувствие чуда, играл в моих волосах, хрустальным гулом наполнял ущелья, волновал сказочные шелка деревьев, цветущих между скал, вдоль дороги; вверх по стволам взлизывали длинные травы, словно языки огня; крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, как летучие чаши, до краев налитые солнцем, скользили по воздуху, раздувая прозрачные, выпуклые лепестки; запах их, сырой и сладкий, напоминал мне все лучшее, что изведal я в жизни.

И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл... Толпой вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли жданные ангелы. Их поступь казалась воздушной, словно движение цветных облаков, прозрачные лики были недвижны, только восторженно дрожали лучистые ресницы. Между ними парили бирюзовые птицы, заливаясь счастливым девическим смехом, и скакали гибкие оранжевые звери в причудливых черных крапах: извивались они в воздухе, бесшумно выбрасывали атласные лапы, ловили летящие цветы – и кружась, и взвиваясь, и сияя глазами, проносились мимо меня...

Крылья, крылья, крылья! Как передам изгибы их и оттенки? Все они были мощные и мягкие – рыжие, багряные, густо-синие, бархатно-черные с огненной пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти крутые тучи над светящимися плечами ангелов; иной из них, в каком-то дивном порыве, будто не в силах сдержать блаженства, внезапно, на одно мгновение, распахивал свою крылатую красоту, и это было как всплеск солнца, как сверканье миллионов глаз.

Толпы их проходили, взирая ввысь. Я видел: очи их – ликующие бездны, в их очах – замиранье полета. Шли они плавной поступью, осыпаясь цветами. Цветы проливали на лету свой влажный блеск; играли, крутясь и взвиваясь, яркие гладкие звери; блаженно звенели птицы, взмывая и опускаясь, а я, ослепленный, трясущийся нищий, стоял на краю дороги, и в моей нищей душе все та же лепетала мысль: взмолиться бы, взмолиться к ним, рассказать, ах, рассказать, что на прекраснейшей из Божьих звезд есть страна – моя страна, – умирающая в тяжких мороках. Я чувствовал, что, захвати я в горсть хоть один дрожащий отблеск, я принес бы в мою страну такую радость, что мгновенно озарились бы, закружились людские души под плеск и хруст воскресшей весны, под золотой гром проснувшихся храмов...

И, вытянув дрожащие руки, стараясь преградить ангелам путь, я стал хвататься за края их ярких риз, за волнистую, жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы, я стонал, я метался, я в иступление вымалывал подаянье, но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики. Стремилась их сонма на райский праздник, в нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало Божество: о нем я не смел помыслить. Я видел огненные паутины, брызги, узоры на гигантских, рдяных, рыжих, фиолетовых крыльях, и надо мной проходили волны пушистого шелеста, шныряли бирюзовые птицы в радужных венцах, плыли цветы, срываясь с блестящих ветвей... “Стой, выслушай меня”, – кричал я, пытаюсь обнять легкие ангельские ноги, – но их ступни – неощутимые, неудержимые – скользили через мои протянутые руки, и края широких крыл, вея мимо, только опаляли мне губы. И вдали золотой просвет между сочно и четко расцвеченных скал заполнялся их плещущей бурей; уходили они, уходили, замирал высокий взволнованный смех райских птиц, перестали слетать цветы с деревьев; я ослабел, затих...

И тогда случилось чудо: отстал один из последних ангелов, и обернулся, и тихо приблизился ко мне. Я увидел его глубокие, пристальные, алмазные очи под стремительными дугами бровей. На ребрах раскинутых крыл мерцал как будто иней, а сами крылья были серые, неописуемого оттенка серого, и каждое перо оканчивалось серебристым серпом. Лик его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого, чистого лба напоминал мне черты, виденные на земле. Казалось, слились в единый чудесный лик изгибы, лучи и прелесть всех любимых мною лиц – черты людей, давно ушедших от меня. Казалось, все те знакомые звуки, что отдаленно касались слуха моего, ныне заключены в единый совершенный напев.

Он подошел ко мне, он улыбался, я не мог смотреть на него. Но, взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку – и по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву.

И тогда, склонив голову, прижав обожженные, яркой глиной испачканные ладони к ослепленным глазам, я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о каком-то сгоревшем доме, гдр некогда солнечный лоск половиц отражался в наклонном зеркале, о старых книгах и старых липах лепетал я, о безделушках, о первых моих стихах в кобальтовой школьной тетради, о каком-то сером валуне, обросшем дикой малиной посреди поля, полного скабиоз и ромашек, но самое главное я никак высказать не мог – путался я, осекался, и начинал сызнова, и опять беспомощной скороговоркой рассказывал о комнатах в прохладной и звонкой усадьбе, о липах, о первой любви, о шмелях, спящих на скабиозах... Казалось мне, что вот сейчас-сейчас дойду до самого главного, объясню все горе моей родины, но почему-то я мог вспомнить только о вещах маленьких, совсем земных, не умеющих ни говорить, ни плакать теми крупными, жгучими, страшными слезами, о которых я хотел и не мог рассказать...

Замолк я, поднял голову. Ангел с тихой внимательной улыбкой неподвижно смотрел на меня своими продолговатыми алмазными очами – и я почувствовал, что понимает он все...

– Прости меня, – воскликнул я, робко целуя родинку на светлой ступне, – прости, что я только умею говорить о мимолетном, о малом. Но ты ведь понимаешь... Милосердный, серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасет мою страну?

И на мгновенье обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово, и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовоньем и звоном по всем жилам моим, солнцем встало в мозгу, и бесчисленные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им; тонким узлом билось оно в виску, влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце.

Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом, я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез...

Господи! Зимний рассвет зеленеет в окне, и я не помню, что крикнул...

Впервые рассказ был опубликован в газете "Руль" (Берлин) 7 января 1923 г.

3. СЛУЧАЙНОСТЬ

Он служил лакеем в столовой германского экспресса. Звали его так: Алексей Львович Лужин.

Ушел он из России пять лет тому назад и с тех пор, перебираясь из города в город, перепробовал немало работ и ремесел: был батраком в Турции, комиссионером в Вене, маляром, приказчиком и еще чем-то. Теперь по обеим сторонам длинного вагона лились, лились поля, холмы, поросшие вереском, сосновые перелески, – и бульон, в толстых чашках на подносе, который он гибко проносил по узкому проходу между боковых столиков, дымился и поплескивал. Подавал он с мастерской торопливостью, ловко подхватывал и раскидывал по тарелкам ломти говядины, – и при этом быстро наклонялась его стриженная голова, напряженный лоб, черные, густые брови, подобные перевернутым усам.

В пять часов дня вагон приходил в Берлин, в семь катил обратно по направлению к французской границе. Лужин жил, как на железных качелях: думать и вспоминать успевал только ночью, в узком закуте, где пахло рыбой и нечистыми носками. Вспоминал он чаще всего кабинет в петербургском доме – кожаные пуговицы на сгибах мягкой мебели, – и жену свою, Лену, о которой пять лет ничего не знал. Сам он чувствовал, как с каждым днем все скудеет жизнь. От кокаина, от слишком частых понюшек опустошалась душа, – и в ноздрах, на внутреннем хряще, появлялись тонкие язвы.

Когда он улыбался, крупные зубы его вспыхивали особенно чистым блеском, и за эту русскую белую улыбку по-своему полюбили его двое других лакеев – Гуго, коренастый, белокурый берлинец, записывавший счета, и быстрый, востроносый, похожий на рыжую лису Макс, разносивший пиво и кофе по отделениям. Но за последнее время Лужин улыбался реже.

В те свободные часы, когда яркая хрустальная волна яда била его, сияньем пронизывала мысли, всякую мелочь обращала в легкое чудо, он кропотливо отмечал на листке все те ходы, что предпримет он, чтобы разыскать жену. Пока он чиркал, пока еще были блаженно вытянуты все те чувства, ему казалась необычайно важной и правильной эта запись. Но утром, когда ломило голову и белье прилипало к телу, он с отвращением и скукой глядел на прыгающие, нечеткие строки. А с недавних пор другая мысль стала занимать его. С той же тщательностью принимался он вырабатывать план своей смерти – и кривой отмечал паденья и взмахи чувства страха и, наконец, чтобы облегчить дело, назначил себе определенный срок: ночь с первого на второе августа. Занимала его не столько сама смерть, как все подробности, ей предшествующие, и в этих подробностях он так запутывался, что о самой смерти забывал. Но, как только он начинал трезветь, тускнела прихотливая обстановка той или другой выдуманной гибели, – и было ясно только одно: жизнь оскудела вконец, и жить

дальше незачем.

А первого августа, в половине седьмого вечера, в просторном полутемном буфете берлинского вокзала сидела за голым столом старуха Ухтомская, Марья Павловна, тучная, вся в черном, с желтоватым, как у евнуха, лицом. Народу в зале было немного. Мутно поблескивали медные гири всяких ламп под высоким потолком. Изредка гулко громыхал отодвинутый стул.

Ухтомская строго взглянула на золотую стрелку стенных часов. Стрелка толчком двинулась. Через минуту вздрогнула опять. Старуха встала, подхватила свой черный глянцеви́тый саквояж и шумящими, плоскими шагами, опираясь на шишковатую мужскую трость, пошла к выходу.

У решетки ее ждал носильщик. Подавали поезд. Мрачные, железного цвета, вагоны тяжело пятились, проходили один за другим. На фанере международного, под средними окнами, белела вывеска: Берлин – Париж; международный, да еще ресторан, где в окне мелькнули выставленные локти и голова рыжего лакея, – они напомнили сдержанную роскошь довоенного норд-экспресса.

Поезд стал; лязгнули буфера; длинный свистящий вздох прошел по колесам. Носильщик устроил Ухтомскую в отделении второго класса, – для курящих, – так старуха просила. В углу у окна уже подрезывал сигару господин с наглым оливковым лицом, в костюме цвета мэкинтоша.

Марья Павловна расположилась напротив. Медленным взглядом проверила, все ли вещи ее на верхней полке. Два чемодана, корзина. Все. И на коленях глянцеви́тый саквояж. Строго пожевала губами.

Ввалилась чета немцев, шумно дыша.

А за минуту до отхода поезда вошла дама, молодая, с большим накрашенным ртом, в черной плотной шляпе, скрывающей лоб. Устроила вещи и ушла в коридор. Господин в оливковом пиджаке посмотрел ей вслед. Она неумелыми рывками подняла раму, высунулась, прощаясь с кем-то. Ухтомская уловила лепет русской речи.

Поезд тронулся. Дама вернулась в купе. На лице еще медлила улыбка, погасла, лицо стало сразу усталым. Мимо окна плыли задние кирпичные стены домов; на одной была реклама: исполинская папироса, словно набитая золотой соломой. В лучах низкого солнца горели крыши, мокрые от дождя.

Марья Павловна не выдержала. Мягко спросила по-русски:

– Вам не помешает, если положу саквояж сюда?..

Дама встрепенулась:

– Ах, пожалуйста...

Оливковый господин в углу напротив одним глазом глянул на нее через газету.

– А я вот еду в Париж, – сообщила Ухтомская, легко вздохнув. – Там у меня сын. Боюсь, знаете, оставаться в Германии.

Вынула из саквояжа просторный платок, крепко им потерла нос – слева направо и обратно.

– Боюсь. Говорят, революция тут будет. Вы ничего не слыхали?

Дама покачала головой. Подозрительным взглядом окинула господина с газетой, немецкую чету.

– Я ничего не знаю. Третьего дня из Петербурга приехала.

Пухлое, желтое лицо Ухтомской выразило живое любопытство. Поползли вверх мелкие брови.

– Да што вы!..

Дама сказала быстро и тихо, все время глядя на носок своего башмачка:

– Да. Добрый человек вывез. Я тоже теперь в Париж. Там у меня родственники.

Стала снимать перчатки. С пальца скатился золотой луч – обручальное кольцо. Она поспешно его поймала.

– Вот, кольцо все теряю. Руки, что ли, похудели.

Замолчала, мигая ресницами. В окно, сквозь стеклянную дверь в проход видать было, как взмывают ровным рядом телеграфные струны.

Ухтомская пододвинулась к даме:

– А скажите, – шумным шепотом спросила она, – ведь им-то теперь... плохо? А?

Черный телеграфный столб пролетел, перебил плавный взмах проволоки. Они спустились, как флаг, когда спадает ветер. И вкрадчиво стали подниматься опять... Поезд шел быстро между воздушных стен широкого, золотистого вечера. В отделеньях, где-то в потолке, потрескивало, дребезжало, словно сыпался дождь на железную крышу. Немецкие вагоны сильно качало. Международный, обитый снутри синим сукном, шел глаже и беззвучнее остальных. В ресторане трое лакеев накрывали к обеду. Один, с серой от стрижки головой и черными бровями, вроде перевернутых усов, думал о баночке, лежащей в боковом кармане. То и дело облизывался и потягивал носом. В баночке – хрустальный порошок фирмы Мерк. Он раскладывал ножи и вилки, вставлял в кольца нераспечатанные бутылки – и вдруг не выдержал. Растерянной, белой улыбкой окинул рыжего Макса, спускавшего плотные занавеси, – и бросился через шаткий железный мостик в соседний вагон. Заперся в уборной. Осторожно рассчитывая толчки, высыпал холмик белого порошка на ноготь большого пальца, быстро и жадно приложил его к одной ноздре, к другой, втянул, ударом языка слизал с ногтя искристую пыль, зажмурился от ее упругой горечи, – и вышел из уборной пьяный, бодрый, – голова наливалась блаженным ледяным воздухом. Он подумал, переходя между кожаных гармоник обратно в свой вагон: вот сейчас легко умереть. Улыбнулся. Лучше подождать до ночи. Жаль было сразу прервать действие упоительного яда.

– Давай талоны, Гуго. Пойду раздавать.

– Нет, пойдет Макс. Макс это делает быстрее. Держи, Макс.

Рыжий лакей сжал в веснушчатом кулаке книжечку билетов. Как лиса, скользнул между столиков. Прошел в голубой коридор международного. Вдоль окон отчаянно взмывали пять отчетливых струн. Небо меркло. В купе второго класса старуха в черном платье, похожая на евнуха, дослушала, тихо окая, рассказ о далекой, убогой жизни.

– А муж ваш – остался?

Дама широко распахнула глаза.

– Нет. Он давно за границей. Так уж случилось. В самом начале он поехал на юг, в Одессу. Ловили его. Я должна была ехать туда, да не выбралась вовремя...

– Ужасы, ужасы. И что же – вы ничего не знаете о нем?

– Ничего. Помню, решила, что он умер. Кольцо стала носить на груди. Боялась, и кольцо отнимут. А в Берлине знакомые сказали, что он жив, что кто-то видел его. Вот, объявление поместила вчера в газете.

Дама торопливо вынула из потрепанной шелковой сумочки свернутый газетный лист.

– Вот, смотрите...

Ухтомская надела очки, прочла:

“Елена Николаевна Лужина просит откликнуться своего мужа, Алексея Львовича”.

– Лужин? – сказала Ухтомская, отцепляя очки. – Уж не Льва ли Сергеевича сын? Двое у него было. Не помню, как звали...

Елена Николаевна светло улыбнулась:

– Как хорошо... Вот это, право, неожиданно. Неужели вы знали его отца?

– Да как же, как же, – самодовольно и ласково заговорила Ухтомская. – Лев Сергеевич... Бывший улан... Усадьбы наши были рядом. В гости приезжал.

– Он умер, – вставила Елена Николаевна.

– Слыхала, слыхала. Царство ему небесное... С борзой всегда приходил. А мальчиков плохо помню. Я сама восемь лет как за границей. Младший как будто беленький был... заикался...

Елена Николаевна улыбнулась опять.

– Да нет, это старший...

– Ну, так я спутала, милая, – мягко сказала Ухтомская. – Память плоха. И Левушку Лужина не вспомнила бы, если б сами не назвали. А теперь все помню. Вечерком чай пил у нас. Вот, я вам скажу...

Ухтомская слегка придвинулась и продолжала – ясно, слегка певуче, без грусти, будто

знала, что говорить о хорошем можно только хорошо, по-доброму, не досадуя на то, что оно исчезло:

– Вот... Тарелки были у нас. Золотая, знаете, каемка, а посередке – по самой середке – комар, ну, совсем настоящий... Кто не знает, непременно захочет смахнуть...

Дверь в отделение отворилась. Рыжий лакей предлагал талоны на обед. Елена Николаевна взяла. Взял и оливковый господин, сидевший в углу и с некоторых пор все пытавшийся поймать ее взгляд.

– А у меня – свое, – сказала Ухтомская, – ветчина, сдобная булка...

Рыжий лакей обежал все отделения. Просеменил назад в вагон-ресторан. Мимоходом подтолкнул локтем стриженного, белозубого, стоявшего с салфеткой под мышкой на площадке. Тот блестящими тревожными глазами посмотрел вслед Максу. Он чувствовал во всем теле прохладную, щекочущую пустоту, как будто вот-вот сейчас все тело чихнет, вычихнет душу. В сотый раз воображал он, как устроит свою смерть. Рассчитывал каждую мелочь, словно решал шахматную задачу. Думал так: выйти ночью на станции, обогнуть неподвижный вагон, приложить голову к щиту буфера, когда другой вагон станут придвигать, чтобы прицепить к стоящему. Два щита стукнутся. Между ними будет его наклоненная голова. Голова лопнет, как мыльный пузырь. Обратится в радужный воздух. Нужно будет крепче стать на шпалу, крепче прижать висок к холодному щиту...

– Не слышишь, что ли? Пора идти звать.

Он испуганно улыбнулся коренастому Гуго и пошел через вагоны, пошатываясь, откидывая дверцы на ходу, громко и торопливо выкрикивая: “К обеду! К обеду!”

В одном отделение он мельком заметил желтоватое, полное лицо старухи, развертывающей бутерброд. Это лицо показалось ему необыкновенно знакомым. Спеша обратно через вагоны, он все думал, кто бы это могла быть. Точно уже видел ее во сне. Чувство, что вот-вот чихнет тело, теперь стало определеннее: вот-вот, сейчас вспомню. Но чем больше он напрягал мысли, тем раздражительнее ускользало воспоминание. Вернулся в столовую хмурый. Раздувал ноздри. Горло сжимала спазма. Не мог переглотнуть.

– А ну, черт с ней... Какие пустяки...

По коридорам стали проходить, шатаясь, придерживаясь за стенки, пассажиры. В потемневших стеклах уже залоснились отраженья, хотя была еще видна желтая, тусклая полоса заката. Елена Николаевна с тревогой заметила, что оливковый господин выждал, пока она сама не встанет, и только тогда встал тоже. У него были неприятно выпуклые глаза, стеклянные, налитые темным йодом. По проходу он шел так, что чуть не наступал на нее, – и когда ее шарахало в сторону – вагоны сильно качало, – то многозначительно покашливал. Ей почему-то вдруг показалось, что это шпион, доносчик, и знала, что глупо так думать – не в России же она, – и все-таки думала так... Уж слишком потрепало душу за последнее время.

Он сказал что-то, когда они проходили по коридору спального. Тогда она ускорила шаг. По тряскому мостику перешла на площадку ресторана, следующего за международным. И тут, внезапно, с какой-то грубой нежностью господин взял ее за руку повыше локтя.

Она едва не вскрикнула и так сильно дернула руку, что пошатнулась.

Господин сказал по-немецки, с иностранным выговором:

– Мое сокровище...

Елена Николаевна круто повернула. Пошла обратно – через мостик, через международный, опять через мостик. Ей было нестерпимо обидно. Лучше вовсе не обедать, чем сидеть против этого чудовищного нахала. Принял ее Бог знает за кого. Только потому, что она красит губы...

– Что вы, голубушка?.. Не идете обедать?

Ухтомская держала бутерброд. Из-под хлебного ломтя, как розовый язык, торчал кусок ветчины.

– Не пойду. Расхотелось. Простите меня – я буду спать.

Старуха удивленно подняла тонкие брови. Потом продолжала жевать.

А Елена Николаевна откинула голову и притворилась, что спит. Вскоре она и впрямь задремала. Бледное, утомленное лицо ее изредка подергивалось. Крылья носа, там, где сошла пудра, блестели. Ухтомская закурила папиросу с длинным картонным мундштуком.

Спустя полчаса вернулся оливковый господин, невозмутимо сел в угол свой, покопал

зубочисткой в задних зубах. Потом прикрыл глаза, поерзал, занавесил голову подолом пальто, висевшего на крюке у окна. Еще через полчаса поезд замедлил ход. Прошли, как призраки, фонари вдоль запотевших окон. Вагон остановился, протяжно и облегченно вздохнув. Стало слышно, как кто-то кашляет в соседнем отделении, как пробегает шаги по платформе. Поезд простоял долго – по-ночному перекликались далекие свистки, – потом раскачнулся, двинулся.

Елена Николаевна проснулась. Ухтомская дремала, открыв черный рот. Немецкой чепты уже не было. Господин с лицом, покрытым пальто, спал тоже, уродливо раскоряча ноги.

Она облизала запекшиеся губы. Устало приложила руки ко лбу. И вдруг вздрогнула: с четвертого пальца исчезло кольцо.

Мгновенье она неподвижно глядела на свою голую руку. Затем, с бьющимся сердцем, растерянно и торопливо стала шарить по сиденью, по полу. Глянула на острое колено господина.

– Ах, Господи, конечно... На площадке ресторана... Когда руку отдернула...

Она выскочила из купе; шатаясь, сдерживая слезы, быстро дыша, побежала по проходкам... Один вагон... второй... спальный... мягкий ковер... Дошла до конца международного и сквозь заднюю дверь увидела – просто – воздух, пустоту, ночное небо, черным клином убегающий путь.

Она подумала, что спутала, не в ту сторону пошла... Всхлипнув, повернула назад.

Рядом, у двери уборной, стояла старушка – в сером переднике, с повязкой на рукаве – похожая на сиделку. Держала ведро, в нем торчала кисть.

– Отцепили, – сказала старушка и почему-то вздохнула, – в Кельне другой будет.

В вагоне-ресторане, оставшемся под сводами дремучего ночного вокзала, лакеи убрали, подметали, складывали скатерти. Лужин, кончив работу, вышел на площадку и встал в проеме двери, опираясь боком на косяк. На вокзале было темно и пустынно. Поодаль сквозь матовое облако дыма влажной звездой лучился фонарь. Чуть блестели потоки рельс. И почему его так встревожило лицо той старухи, – он понять не мог. Все остальное было ясно, – только вот это слепое пятно мешало.

Рыжий, востроносый Макс вышел на площадку тоже. Подметал. В углу заметил золотой луч. Нагнулся. Кольцо. Спрятал в жилетный карман. Юрко огляделся, не видел ли кто. Спина Лужина в проеме двери была неподвижна. Макс осторожно вынул кольцо; при смутном свете разглядел прописное слово и цифры, вырезанные снутри. Подумал: “По-китайски...”. А на самом деле было: “1 августа 1915 г. Алексей”. Сунул кольцо обратно в карман.

Спина Лужина двинулась. Он не торопясь сошел вниз. Прошел наискось через темную платформу к соседнему полотну – покойной, свободной походкой, словно прогуливался.

Сквозной поезд влетал в вокзал. Лужин дошел до края платформы и легко спрыгнул. Угольная пыль хрустнула под каблуком.

И в тот же миг одним жадным скоком нагрянул паровоз. Макс, не понимая, видел издали, как промахнули сплошной полосой освещенные окна.

Впервые рассказ был опубликован в газете “Сегодня” (Рига) 22 июня 1924 г.

4. ДРАКА

1

По утрам, если солнце приглашало меня, я ездил за город купаться. У конечной остановки трамвая, на зеленой скамье, проводники – коренастые, в огромных тупых сапогах – отдыхали, вкусно покуривая, и потирали изредка тяжелые, пропахнувшие металлом руки, глядя, как рядом, вдоль самых рельс, человек в мокром фартуке поливает цветущий шипов-

ник, как вода серебряным гибким веером хлещет из блестящей кишки, то летая на солнце, то наклоняясь плавно над трепещущими кустами. Я проходил мимо них, зажав под мышкой свернутое полотенце, быстрым шагом направлялся к опушке леса; там частые и тонкие стволы сосен, шероховато-бурые внизу, телесного цвета повыше, были испещрены мелкими тенями, и на чахлой траве под ними валялись, как бы дополняя друг друга, лоскутки солнца и лоскутки газет. Внезапно небо весело раздвигало стволы; по серым волнам песка я спустился к озеру, где вскрикивали да поживались голоса купавшихся и мелькали на светлой глади темные поплавки голов. На пологом скате навзничь и ничком лежали тела всех оттенков солнечной масти – иные еще белые с розоватым крапом на лопатках, иные же жаркие, как мед или цвет крепкого кофе со сливками. Я освобождался от рубашки, и сразу со слепую нежностью наваливалось на меня солнце.

И каждое утро, ровно в девять, появлялся подле меня один и тот же человек. Это был колченогий пожилой немец в штанах и куртке полувоенного покроя, с большой лысой головой, выглаженной солнцем до красного лоску. Он приносил с собой черный, как старый ворон, зонтик и ладно схваченный тюк, который тотчас делился на серое одеяло, купальную простыню и пачку газет. Одеяло он аккуратно раскладывал на песке и, оставшись в одних трусиках, заранее надетых под штаны, преугодно на одеяле устраивался, прилаживал раскрытый зонтик за головой, чтобы тень падала только на лицо, и принимался за газеты.

Я искоса следил за ним, примечая темную, словно расчесанную шерсть на его крепких, кривых ногах, пухловатое брюхо с глубоким пупом, глядящим, как глаз, в небо, – и очень мне было занято гадать, кто этот человек, так благочестиво любивший солнце.

Мы валялись на песке часами. По небу текли волнующимся караваном летние облака – облака-верблюды, облака-шатры. Солнце старалось проскользнуть между них, но они находили на него ослепительным краем, воздух потухал, потом снова назревало сиянье, но первым озарялся не наш, а супротивный берег, – мы еще были в тени, ровной и бесцветной, а там ложился уже теплый свет, там тени сосен оживали на песке, вспыхивали вылепленные из солнца маленькие, голые люди, – и внезапно, как счастливое, огромное око, открывалось сиянье и на нашей стороне. Тогда я вскакивал на ноги, серый песок мягко обжигал мне ступни, я бежал к воде, шумно в нее врзался. Хорошо потом высохнуть на угреве, чувствовать, как солнце вкрадчивыми устами жадно пьет прохладный бисер, оставшийся на теле.

Немец мой захлопывает зонтик и, осторожно вздрагивая кривыми икрами, в свой черед спускается к воде, где, по обычаю пожилых купальщиков оmyвши сначала голову, широким движением пускается в плавь. Продавец кислых леденцов проходит берегом, выкрикивая свой товар. Двое других в купальных костюмах быстро проносят ведро с огурцами – и соседи мои по солнцу, грубоватые, на диво сложенные молодцы, подхватывают короткие возгласы торговцев, искусно подражая им. Голый младенец, весь черный от сырого песка, прилипшего к нему, ковыляет мимо меня, и смешно прыгает маленький клювик между неловких толстеньких ног. Рядом сидит его мать, полураздетая, миловидная, расчесывает, закусив шпильки, свои черные длинные волосы. А подальше, у самой опушки, коричневые юноши сильно играют в мяч, швыряя его одной рукой, и оживает в этом движении бесмертный размах дискобола, и вот аттическим шорохом закипают на легком ветру сосны, и сдается мне, что весь мир, как вон тот, большой и плотный, мяч, перелетел дивной дугой обратно в охапку нагого языческого бога. И в это мгновение с каким-то золотым возгласом всплывает над соснами аэроплан, и смуглый атлет, прервав игру, смотрит на небо, где к солнцу несутся два синих крыла, гуденье, восторг Дедала.

Мне хочется все это рассказать моему соседу, когда, тяжело дыша, скаля неровные зубы, он выходит из воды и ложится опять на песок. Но немецких слов у меня слишком мало, и только поэтому он не понимает меня – зато улыбается мне всем существом, блеском лысины, черным пучком усов, веселым мясистым брюхом с тропкой шерсти, сбегавшей посередке.

автомобили и по-южному горят в синем воздухе горки апельсинов на лотках, я забрел в далекий квартал и завернул в пивную утолить вечернюю жажду, столь знакомую городским бродягам. Мой веселый немец стоял за блестящей стойкой, пускал из крана толстую струю, дощечкой срезал пену, пышно переливавшуюся через край. На стойку облокотился огромный тяжкий извозчик с седыми усищами и смотрел на кран, слушал пиво, шипевшее, как лошадиная моча. Подняв на меня глаза, хозяин дружелюбно осклабился, налил пива и мне, звонко кинул монету в ящик. Рядом мыла и вытирала стаканы, проворно скрипя тряпкой, девушка в клетчатом платье, светловолосая, с острыми розовыми локтями. В тот же вечер я узнал, что это его дочь, что зовут ее Эмма, а его самого – Краузе. Я сел в уголок и стал не спеша потягивать легкое, белогривое пиво, чуть отдававшее металлом. Кабачок был обычного типа – две-три питейных рекламы, олени рога, низкий темный потолок в гирляндах бумажных флажков, след какого-то фестиваля. Позади стойки на полках блестяли бутылки, повыше крупно тикали часы, старомодные, в виде шалашика с выскакивавшей кукушкой. Чугунная печка тянула свою кольчатую трубу вдоль стены и перегибала ее в пестроту потолочных флажков. На голых крепких столах грязно белели картонные подставки для пивных кружек. У одного из них сонный мужчина с аппетитными складками жира на затылке и беззубый угрюмый парень, с виду наборщик или монтер, играли в кости.

Было хорошо, покойно. Часы, не торопясь, отламывали сухие дольки времени, Эмма позвякивала стеклом и все посматривала в угол, где в узком зеркале, пересеченном золотыми литерами рекламы, отражался острый профиль монтера и рука его, поднявшая черную воронку с игральными костями.

На следующее утро я опять проходил мимо коренастых трамвайщиков, мимо веера воды, в котором дивно скользила радуга, и очутился опять на озерном берегу, где уже полеживал Краузе. Он высунул из-под зонтика потное лицо и заговорил – о воде, о зное. Я лег, зажмурился от солнца, и, когда открыл глаза, все кругом было голубое. Вдруг по береговой дороге, в пятнах солнца между сосен, прокатил небольшой фургон, за ним – полицейский на велосипеде. В фургоне билась, заливалась тонким рыдающим лаем пойманная собачонка. Краузе привстал, изо всех сил крикнул: “Осторожно! ловец собак!” – и сразу кто-то подхватил этот крик, крик передавался из глотки в глотку, огибая круглое озеро, опережая ловца, и предупрежденные люди бросались к своим собакам, напяливали им намордники, нащелкивали привязи. Краузе с удовольствием прослушал удаляющиеся звучные повторения и добродушно подмигнул мне: “Так. Ни одной больше не схватит”.

Я стал довольно часто заходить в его кабачок. Мне очень нравилась Эмма – ее голые локти и маленькое птичье лицо с пустыми и нежными глазами. Но особенно нравилось мне, как она глядела на своего любовника монтера, когда он лениво облокачивался на стойку. Я видел его сбоку – горестную зловую морщину у рта, горящий волчий глаз, синюю щетину на впалой, давно не выбритой щеке. Она глядела на него с таким испугом и любовью, пока он, пристально впившись в нее взором, что-то тихо ей говорил, она так доверчиво кивала головой, полуоткрыв бледные губы, – что мне в моем углу становилось восхитительно весело и легко, словно Бог подтвердил мне бессмертие души или гений похвалил мои книги. Я запомнил также мокрую от пивной пены руку монтера, большой палец этой руки, сжавший кружку, – громадный черный ноготь с трещиной посередке.

Последний раз, когда я побывал там, вечер, помнится, был душный, грозовой, потом поднялся вихрь, и на площади люди побежали к лестнице подземной станции: в пепельной мгле площади ветер рвал одежды, как на картине “Гибель Помпеи”. Хозяину в тусклом кабачке было жарко, он расстегнул ворот и хмуро ужинал с двумя лавочниками. Было уже поздно, и по стеклам шуршал дождь, когда пришел монтер. Он вымок, продрог и с досадой пробормотал что-то, увидя, что нет Эммы за стойкой. Краузе молчал, жуя серую, как булыжник, колбасу.

И тут я почувствовал, что сейчас произойдет нечто удивительное. Я много выпил, и душа моя, жадное, глазастое мое нутро требовало зрелищ. Началось все очень просто. Монтер, подойдя к стойке, небрежно налил себе рюмку коньяку из клювастой бутылки, проглотил, отер губы кистью руки и, хлопнув себя по картузу, двинулся к двери. Краузе опустил крестом нож и вилку на тарелку и громко сказал:

– Стой! Двадцать пфеннигов.

Монтер, взявшись было за ручку двери, обернулся:

– Я полагаю, что я здесь у себя.

– Ты не заплатишь? – спросил Краузе.

Из глубины под часами вышла вдруг Эмма, посмотрела на отца, на любовника, замерла. Над ней из шалашика выскочила с писком кукушка и спряталась опять.

– Оставьте меня в покое, – медленно проговорил монтер и вышел вон.

Тогда Краузе с удивительной живостью кинулся за ним, рванул дверь. Допив остаток пива, я выбежал тоже: порыв сырого ветра приятно хлынул мне в лицо.

Они стояли друг против друга на черной, блестящей от дождя панели и оба орали – я не мог разобрать все слова в этом восходящем, рокочущем рыке, но одно слово отчетливо повторялось в нем: двадцать, двадцать, двадцать. Несколько людей уже остановились поглядеть на ссору – я сам любовался ею, отблеском фонаря на искаженных лицах, напряженной жилой на шее Краузе, – и при этом мне вспомнилось почему-то, что однажды, в портовом притоне, я великолепно подрался с черным, как жук, итальянцем: рука моя оказалась у него во рту и яростно выжимала, старалась разорвать внутреннюю мокрую кожу его щеки.

Монтер и Краузе орали все громче. Мимо меня скользнула Эмма, стала, не смела подойти, и только отчаянно вскрикивала:

– Отто!.. Отец!.. Отто!.. Отец!.. – и при каждом ее вскрике сдержанным, выжидательным гоготом колыхалась небольшая толпа.

Они пустились в рукопашную с жадностью, глухо забухали кулаки; монтер бил молча, а Краузе, ударяя, коротко гакал: ат, ат. У тощего Отто сразу согнулась спина, темная кровь потекла из ноздри – он вдруг попытался схватить тяжелую руку, бившую его по лицу, но вместо этого пошатнулся и рухнул ничком на панель. К нему подбежали, скрыли его из виду. Я вспомнил, что оставил на столике шапку, и вошел обратно в кабак. В нем показалось странно тихо и светло. В углу сидела Эмма, уронив голову на вытянутую через стол руку. Я подошел, погладил ее по волосам, она подняла ко мне заплаканное лицо и снова опустила голову. Тогда я осторожно поцеловал ее в нежный, пахнувший кухней пробор и, найдя шапку, вышел на улицу. Там все еще толпился народ. Краузе, тяжело дыша, – как тогда на берегу, когда он вылезал из воды, – объяснял что-то полицейскому.

Я не знаю и знать не хочу, кто виноват, кто прав в этой краткой истории. Ее можно было, конечно, повернуть совсем иначе, с сочувствием рассказать, как из-за медной монетки оскорблено было счастье, как Эмма проплакала всю ночь и, заснув к утру, видела опять – во сне – озверевшего отца, мявшего ее любовника. А может быть, дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот сегодня, вот сейчас единственным и неповторимым образом.

Впервые рассказ был опубликован в газете “Руль” (Берлин) 26 сентября 1925 г.

5. БРИТВА

Недаром в полку звали его: Бритва. У этого человека лицо было лишено анфаса. Когда его знакомые думали о нем, то могли его представить себе только в профиль, и этот профиль был замечательный: нос острый, как угол чертежного треугольника, крепкий, как локоть, подбородок, длинные нежные ресницы, какие бывают у очень упрямых и жестоких людей. Прозывался он Иванов.

В той кличке, которую ему некогда дали, было странное ясновидение. Нередко бывает, что человек по фамилии Штейн становится превосходным минералогом. И капитан Иванов, попав, после одного эпического побега и многих пресных мытарств, в Берлин, занялся именно тем, на что его давняя кличка намекала, – цирюльным делом.

Служил он в небольшой, но чистой парикмахерской, где кроме него стригли и брили двое подмастерий, относившихся с веселым уважением к “русскому капитану”, и был еще сам хозяин – кислый толстяк, с серебряным грохотом поворачивавший ручку кассы, – и еще малокровная, прозрачная маникюрша, которая, казалось, высохла от прикосновений к бесчисленным человеческим пальцам, ложившимся по пяти штук сразу на бархатную поду-

щечку перед ней. Иванов работал отлично, но некоторой помехой было то, что плохо он говорил по-немецки. Впрочем, он скоро понял, как нужно поступать, а именно: ставить после одной фразы вопросительное “нихт?”¹, а после следующей вопросительное “вас?”², – и потом опять “нихт?” и так далее, попеременно. И замечательно, что, хотя он научился стричь только в Берлине, ухватки у него были точно такие же, как у российских стригунов, которые, как известно, много стрекочат ножницами впустую – пострекочат, нацелятся, отхватят клоч, другой, и опять быстро, быстро, словно по инерции, продолжают хлопотать лезвиями в воздухе. Его коллеги уважали его как раз за этот щегольский звон.

Ножницы да бритва, несомненно, холодные оружия, и этот постоянный металлический трепет был чем-то приятен воинственной душе Иванова. Человек он был злопамятный и неглупый. Его большую, благородную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради красного словца, и это он простить не мог. В душе у него, как туго свернутая пружина, сжималась до поры до времени месть.

Однажды, в очень жаркое, сизое, летнее утро, оба коллеги Иванова, пользуясь тем, что в это рабочее время посетителей почти не бывает, отпросились на часок, а сам хозяин, умирая от жары и давно зреющего желания, молча увел в заднюю комнату бледненькую, на все согласную маникюршу. Иванов, оставшись один в светлой парикмахерской, просмотрел газету и потом, закурив, вышел, весь белый, на порог и стал глядеть на прохожих.

Мимо мелькали люди в сопровождении своих синих теней, которые ломались на краю панели и бесстрашно скользили под сверкавшие колеса автомобилей, оставлявших на жарком асфальте ленточные отпечатки, подобные узорчатым шкуркам змей. И вдруг прямо на белого Иванова свернул с тротуара плотный, низенького роста господин в черном костюме, котелке и с черным портфелем под мышкой. Иванов, мигая от солнца, посторонился, пропустил его в парикмахерскую.

Тогда вошедший отразился во всех зеркалах сразу – в профиль, вполборота, потом восковой лысиной, с которой поднялся, чтобы зацепиться за крюк, черный котелок. И когда господин повернулся лицом к зеркалам, сиявшим над мраморными подставками, на которых золотом и зеленью отливали флаконы, Иванов мгновенно узнал это подвижное, пухлявое лицо, с пронзительными глазками и толстым родимым прыщом у правого крыла носа.

Господин молча сел перед зеркалом и, промычав что-то, постучал тупым пальцем по неопрятной щеке, что значило: бриться. Иванов, в каком-то тумане изумления, завернул его в простыню, взбил тепловатую пену в фарфоровой чашечке, кисточкой стал мазать господину щеки, круглый подбородок, надгубье, осторожно обошел родимый прыщ, указательным пальцем стал втирать пену, – и все это делал машинально – так он был потрясен встретить опять этого человека.

Теперь лицо господина оказалось в белой рыхлой массе пены до глаз, а глаза были маленькие, блестящие, как мерцательные колесики часового механизма. Иванов открыл бритву, и когда стал точить ее о ремень, вдруг оправился от своего изумления и почувствовал, что этот человек в его власти.

И, наклонившись через восковую лысину, он приблизил синее лезвие бритвы к мыльной маске и очень тихо сказал:

– Мое почтение, товарищ. Давно ли вы из наших мест? Нет, прошу вас не двигаться, а то я могу вас уже сейчас порезать.

Мерцательные колесики заходили быстрее, взглянули на острый профиль Иванова, остановились.

Иванов тупым краем бритвы снял лишнее хлопье пены и продолжал:

– Я вас очень хорошо помню, товарищ... Простите, вашу фамилию мне неприятно произнести. Помню, как вы допрашивали меня, в Харькове, лет шесть тому назад. Помню вашу подпись, дорогой мой... Но, как видите, я жив.

И тогда случилось следующее: глазки забегали и вдруг плотно закрылись. Человек

¹ Нет (нем.)

² Что (нем.)

зажмурился, как жмурился тот дикарь, который полагал, что с закрытыми глазами он невидим.

Иванов нежно водил бритвой по шуршащей, холодной щеке.

– Мы совершенно одни, товарищ. Понимаете? Вот, не так скользнет бритва, и сразу будет много крови. Тут вот бьется сонная артерия. Много крови, очень даже много. Но до этого я хочу, чтобы лицо у вас было прилично выбрито, и кроме того хочу вам кое-что рассказать.

Иванов осторожно приподнял двумя пальцами мясистый кончик его носа и все так же нежно стал брить пространство над губой.

– Дело вот в чем, товарищ: я все помню, отлично помню и хочу, чтобы и вы вспомнили...

И тихим голосом Иванов стал рассказывать, неторопливо брея неподвижное, откинутое назад лицо. И этот рассказ, должно быть, был очень страшен, ибо изредка его рука останавливалась и он совсем близко наклонялся к господину, который в белом саване простыни сидел, как мертвый, прикрыв выпуклые веки.

– Вот и все, – вздохнул Иванов. – Вот и весь рассказ. Как вы думаете, чем можно искупить все это? С чем сравнивают острую шашку? И еще подумайте: мы совершенно одни, совершенно одни.

– Покойников всегда бреют, – продолжал Иванов, снизу вверх проводя лезвием по его натянутой шее. – Бреют и приговоренных к смертной казни. И теперь я брею вас. Вы понимаете, что сейчас будет?

Человек сидел не шевелясь, не раскрывая глаз. Теперь с его лица сошла мыльная маска, следы пены оставались только на скулах, я около ушей. Это напряженное, безглазое, полное лицо было так бледно, что Иванов подумал было, не хватил ли его паралич, но, когда он плашмя приложил бритву к его щеке, человек вздрогнул всем корпусом. Глаз, впрочем, он не открыл.

Иванов поспешно отер ему лицо, плюнул пудрой в него из выдувного флакона.

– Будет с вас, – сказал он спокойно. – Я доволен, можете идти.

С брезгливой поспешностью он сдернул с его плеч простыню. Человек остался сидеть.

– Вставай, дура! – крикнул Иванов и поднял его за рукав. Тот застыл, с плотно закрытыми глазами, посередине зальца. Иванов напялил на него котелок, сунул ему портфель под руку – и повернул его к двери. Только тогда человек двинулся, его лицо с закрытыми глазами мелькнуло во всех зеркалах; как автомат, он переступил порог двери, которую Иванов держал открытой, и все той же механической походкой, сжимая вытянутой одеревеневшей рукой портфель и глядя в солнечную муть улицы, как у греческих статуй, глазами, – ушел.

Впервые рассказ был опубликован в газете "Руль" (Берлин) 19 февраля 1926 г.

6. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ

Наступило молчанье. Антон Голый, безжалостно освещенный лампой, молодой, толстолицый, в косоворотке под черным пиджаком, напряженно потупясь, стал собирать листы рукописи, которые он во время чтения откладывал, как попало. Его пестун, критик из "Красной Яви", смотрел в пол, хлопая себя по карманам в поисках спичек. Писатель Новодворцев молчал тоже, но его молчание было другое, – маститое. В крупном пенсне, чрезвычайно лобастый, с двумя полосками редких темных волос, натянутых поперек лысины, и с сединой на подстриженных висках, он сидел прикрыв глаза, словно продолжал слушать, скрестив толстые ноги, защемив руку между коленом одной ноги и подколенной косточкой другой. Уже не в первый раз к нему приводили вот таких угрюмых истовых сочинителей из крестьян. И уже не в первый раз ему брезжил в их неопытных повестях ответ – до сих пор критикой не отмеченный – его собственного двадцатипятилетнего творчества; ибо в рассказе Голого неловко повторялась его же тема, тема его повести "Грань", написанной с волнением и надеждой, напечатанной в прошлом году и ничего не прибавившей к его прочной, но тусклой славе.

Критик закурил. Голый, не поднимая глаз, совал рукопись в портфель, – но хозяин

продолжал молчать, – не потому, что не знал, как оценить рассказ, а потому, что робко и тоскливо ждал, что критик, быть может, скажет те слова, которые ему, Новодворцеву, неудобно сказать: тема, мол, взята новодворцевская, Новодворцевым внушен этот образ молчаливого, бескорыстно преданного своему делу рабочего, который не образованием, а какой-то нутряной, спокойной мощью одерживает психологическую победу над злобным интеллигентом. Но критик, сгорбившись на краю кожаного дивана, как большая печальная птица, – безнадежно молчал.

Тогда Новодворцев, поняв, что и нынче желанных слов не услышит, и стараясь сосредоточить мысль на том, что все-таки к нему, а не к Неверову привели начинающего писателя на суд, переменял положение ног, подсунул другую руку и, деловито сказав “так-с”, глядя на жилу, вздувшуюся у Голого на лбу, стал тихо и гладко говорить. Он говорил, что рассказ крепко сделан, что чувствуется сила коллектива в том месте, где мужики на свои деньги начинают строить школу, что в описании любви Петра к Анюте есть какие-то промахи слога, но слышится зов весны, зов здоровой похоти, – и все время, пока он говорил, ему почему-то вспоминалось, как недавно он послал тому же критику письмо, в котором напоминал, что в январе исполняется двадцать пять лет его писательской деятельности, но что он убедительно просит никаких чествований не устраивать, ввиду того, что еще продолжают для Союза годы интенсивной работы...

“А вот интеллигент у вас не удался, – говорил он. – Не чувствуется настоящей обреченности...”

Но критик молчал. Это был костлявый, расхлябанный, рыжий человек, страдающий, по слухам, чахоткой, но на самом деле, вероятно, здоровый как бык. Он ответил, письмом же, что одобряет такое решение, и на этом дело и кончилось. Должно быть, в виде тайной компенсации привел Голого... И Новодворцеву стало вдруг так грустно, – не обидно, а просто грустно, – что он осекся и начал платком протирать стекла, и глаза у него оказались со всем добрыми.

Критик встал. “Куда же вы, еще рано...”, – сказал Новодворцев, но встал тоже. Антон Голый кашлянул и прижал портфель к боку.

“Писатель из него выйдет, это так”, – равнодушно сказал критик, блуждая по комнате и тыкая в воздухе потухшей папиросой. Напевая вполголоса, сквозь зубы, с зыкающим звуком, он повис над письменным столом, затем постоял у этажерки, где добротный “Капитал” жил между потрепанным Леонидом Андреевым и безымянной книгой без корешка; наконец, все той же склоняющейся походкой подошел к окну, отодвинул синюю штору.

“Заходите, заходите, – говорил Новодворцев Антону Голому, который отрывисто кланялся и потом браво расправлял плечи. – Вот напишите еще что-нибудь – принесите”.

“Масса снегу навалило, – сказал критик, отпустив штору. – Сегодня, кстати, сочельник”.

Он стал вяло искать пальто и шапку.

“Во время оно, в сей день, ваша братия строчила рождественские фельетончики...”

“Со мной не случилось”, – сказал Новодворцев. Критик усмехнулся. “Напрасно. Вот бы написал рождественский рассказ. По-новому”.

Антон Голый кашлянул в кулак. “А у нас”, – начал он хриплым басом и опять прочистил горло.

“Я серьезно говорю, – продолжал критик, влезая в пальто. – Можно очень ловко построить. Спасибо... Уже”.

“А у нас, – сказал Антон Голый, – был такой случай. Учитель. Вздумал на праздниках ребятам елку. Устроить. Нацепил сверху. Красную звезду”.

“Нет, это не совсем годится, – сказал критик. – В рассказике это выйдет грубовато. Можно острее поставить. Борьба двух миров. Все это на фоне снега”.

“Вообще с символами нужно осторожнее обращаться, – хмуро сказал Новодворцев. – Вот у меня есть сосед – препорядочный человек. А все-таки так выражается: “Голгофа пролетариата”...”

Когда гости ушли, он сел к письменному столу, подпер ухо толстой белой рукой. Около чернильницы стояло нечто вроде квадратного стакана с тремя вставками, воткнутыми в синюю стеклянную икру. Этой вещи было лет десять, пятнадцать, – она прошла через все

бури, миры вокруг нее растряхивались, – но ни одна стеклянная дробинка не потерялась. Он выбрал перо, придвинул лист бумаги, подложил еще несколько листов, чтобы было пухлее писать...

“Но о чем?” – громко сказал Новодворцев и ляжкой отодвинул стул, зашагал по комнате. В левом ухе нестерпимо звенело.

“А ведь этот скот нарочно сказал”, – подумал он, и, словно проделывая в свой черед недавний путь критика по комнате, пошел к окну.

“Советует... Издевательский тон... Вероятно, думает, что оригинальности у меня больше нет... Вот закачу в самом деле рождественский рассказ... Потом будет сам вспоминать, печатно: захожу я к нему однажды и так, между прочим, говорю: “Изобразили бы вы, Дмитрий Дмитриевич, борьбу старого и нового на фоне рождественского, в кавычках, снега. Продолжали бы до конца ту линию, которую вы так замечательно провели в “Грани”, – помните сон Туманова? Вот эту линию... И в эту ночь родилось то произведение, которое...”.

Окно выходило во двор. Луны не было видно... нет, впрочем, вон там сияние из-за темной трубы. Во дворе были сложены дрова, покрытые светящимся ковром снега. В одном окне горел зеленый колпак лампы, кто-то работал у стола; как бисер, блестели счеты. С краю крыши вдруг упали, совершенно беззвучно, несколько снежных комьев. И опять – оцепенение.

Он почувствовал ту щекощущую пустоту, которая всегда у него сопровождала желание писать. В этой пустоте что-то принимало образ, росло. Рождество, новое, особое. Этот старый снег и новый конфликт...

За стеной он услышал осторожный стук шагов. Это вернулся к себе сосед, скромный, вежливый, – коммунист до мозга костей. С чувством беспредельного упоения, сладкого ожидания, Новодворцев снова присел к столу. Настроение, краски зреющего произведения уже были. Оставалось только создать остов – тему. Елка – вот с чего следовало начать. Он подумал о том, что, вероятно, в некоторых домах бывшие люди, запуганные, злобные, обреченные (он их представил себе так ясно...) украшают бумажками тайно срубленную в лесу елку. Этой мишуры теперь негде купить, елок не сваливают больше под тенью Исакия...

Мягкий, словно в суконце обернутый стук. Дверь открылась на вершок. Деликатно, не просовывая головы, сосед сказал:

“Попрошу у вас перышко. Лучше тупое, если есть...”

Новодворцев дал.

“Бладасте”, – сказал сосед и бесшумно затворил дверь.

Этот незначительный перерыв как-то ослабил образ, который уже созревал. Он вспомнил, что в “Грани” Туманов жалеет о пышности прежних праздников. Плохо, если получится только повторение. Некстати пронеслось и другое воспоминание. Недавно, на одном вечере, какая-то дамочка сказала своему мужу: “Ты во многом очень похож на Туманова”. Несколько дней он был очень счастлив. А потом с этой дамочкой познакомился, и оказалось, что Туманов – жених ее сестры. И это был не первый обман. Критик один сказал ему, что напишет статью о “тумановщине”. Что-то было бесконечно лестное в этом слове, начинающемся с маленькой буквы. Но критик уехал на Кавказ изучать грузинских поэтов. А все же бывало и приятное. Такой перечень, например: Горький, Новодворцев, Чириков...

В автобиографии, приложенной к полному собранию сочинений (шесть томов, с портретом), он описал, с каким трудом он, сын простых родителей, пробился в люди. На самом деле юность у него была счастливая. Хорошая такая бодрость, вера, успехи. Двадцать пять лет тому назад в толстом журнале появилась его первая повесть. Его любил Короленко. Он бывал арестован. Из-за него закрыли одну газету. Теперь его гражданские надежды сбылись. Среди молодых, среди новых он чувствовал себя легко, вольно. Новая жизнь была душе его впрок и впору. Шесть томов. Его имя известно. Но тусклая слава, тусклая...

Он скользнул обратно к образу елки – и вдруг, ни с того ни с сего вспомнил гостиную в одном купеческом доме, большую книгу статей и стихов с золотым обрезом (в пользу голодающих), как-то связанную с этим домом, и елку в гостиной, и женщину, которую он тогда любил, и то, как все огни елки хрустальным дрожанием отражались в ее широко раскрытых глазах, когда она с высокой ветки срывала мандарин. Это было лет двадцать, а то и больше назад, – но как мелочи запоминаются.

С досадой отвернулся он от этого воспоминания, и опять, как всегда, вообразил убогие елки, которые, верно, сейчас украшают... Из этого не сделаешь рассказа, но, впрочем, можно обострить... Эмигранты плачут вокруг елки, напялили мундиры, пахнувшие нафталином, смотрят на елку и плачут. Где-нибудь в Париже. Старый генерал вспоминает, как бил по зубам, и вырезает ангела из золотого картона... Он подумал о генерале, которого действительно знал, который действительно был теперь за границей, – и никак не мог представить его себе плачущим, коленапреклоненным перед елкой...

“Но я на верном пути”, – вслух произнес Новодворцев, нетерпеливо преследуя какую-то ускользающую мысль. И что-то новое, неожиданное стало грезиться ему. Европейский город, сытые люди в шубах. Озаренная витрина. За стеклом огромная елка, обложенная по низу окороками; и на ветках дорогие фрукты. Символ довольствия. А перед витриной, на ледяном тротуаре...

И, с торжественным волнением, чувствуя, что он нашел нужное, единственное, – что напишет нечто изумительное, изобразит, как никто, столкновение двух классов, двух миров, он принялся писать. Он писал о дородной елке в бесстыдно освещенной витрине и о голодном рабочем, жертве локаута, который на елку смотрел суровым и тяжелым взглядом.

“Наглая елка”, – писал Новодворцев, – “переливалась всеми огнями радуги”.

Впервые рассказ был опубликован в газете “Руль” (Берлин) 25 декабря 1928 г.

7. УДАР КРЫЛА

I

Когда одна лыжа гнутым концом найдет на другую, то валишься вперед: жгучий снег забирается за рукава, и очень трудно встать. Керн, давно на лыжах не бегавший, сразу вспотел. Чувствуя легкое головокружение, он сдернул шерстяную шапку, щекотавшую ему уши; смахнул с ресниц влажные искры.

Весело и лазурно было перед шестиярусной гостиницей. В сиянии стояли бесплотные деревья. По плечу снеговых холмов рассыпались бесчисленные лыжные следы, что теневые волосы. А кругом – неслась в небо и в небе вольно вспыхивала – исполинская белизна.

Керн, скрипя лыжами, взбирался по скату. Заметя ширину его плеч, конский профиль и крепкий лоск на скулах, его приняла за своеземца та англичанка, с которой он познакомился вчера, в третий день приезда. Изабель – летучая Изабель – так называла ее толпа гладких и матовых молодых людей аргентинского пошиба, всюду сновавших за ней, в бальном зале гостиницы, на мягких лестницах и по снежным скатам в игре искристой пыли...

Облик у нее был легкий и стремительный, рот такой яркий, что, казалось, Творец, набрав в ладонь жаркого кармина, горстью хватил ее по нижней части лица. В пушистых глазах летала усмешка. Крылом торчал испанский гребень в крутой волне волос – черных с атласным отливом. Такой видел ее Керн вчера, когда глуховатый гул гонга вызвал ее к обеде из комнаты № 35. И то, что они были соседи, причем номер ее комнаты был числом его лет, и то, что в столовой за длинным табль-д’от она сидела против него – высокая, веселая, в черном открытом платье, с черной полоской шелка вокруг голой шеи, – все это показалось Керну таким значительным, что прояснилась на время тусклая тоска, вот уже полгода тяготившая над ним.

Изабель первая заговорила, и он не удивился: жизнь в этой огромной гостинице, одиноко горящей в провале гор, билась пьяно и легко после мертвых лет войны; к тому же ей, Изабель, все было дозволено – и косою удар ресниц, и смех, запевший в голосе, когда она сказала, передавая Керну пепельницу:

– Мы с вами, кажется, единственные англичане здесь... – И добавила, пригнув к столу прозрачное плечо, схваченное черной ленточкой: –...не считая, конечно, полдюжины старушек – и вон того, с воротничком задом наперед...

Керн отвечал:

– Вы ошибаетесь. У меня родины нет. Правда, я пробыл много лет в Лондоне. А кроме

того...

Утром, на следующий день, он почувствовал вдруг, после полугода привычного равнодушия, как приятно войти в оглушительный конус ледяного душа. В девять часов, плотно, толково позавтракав, он захрустел лыжами по рыжему песку, которым посыпался голый блеск дорожки перед крыльцом гостиницы. Взобравшись по снежному скату – утиными шагами, как полагается лыжнику, – он увидел среди клетчатых рейтуз и горящих лиц – Изабель.

Она поздоровалась с ним по-английски: одним взмахом улыбки. Ее лыжи отливали оливковым золотом. Снег облепил сложные ремни, державшие ступни ее ног, не по-женски сильных, стройных в крепких сапогах и в плотных обмотках. Лиловая тень скользнула за ней по насту, когда, непринужденно заложив руки в карманы кожаной куртки и слегка выставив вперед левую лыжу, она понеслась вниз по скату, все быстрее, в развевающемся шарфе, в струях снежной пыли. Затем на полном ходу она круто завернула, гибко согнув одно колено, и снова выпрямилась и понеслась дальше, мимо елок, мимо бирюзовой площадки катка. Двое юношей в расписных свитерах и знаменитый шведский спортсмен с терракотовым лицом и бесцветными, назад зачесанными волосами пролетели вслед за ней.

Немного позже Керн снова встретил ее, близ голубой дорожки, по которой с легким грохотом мелькали люди – шерстяные лягушки, ничком на плоских санках. Изабель, блеснув лыжами, скрылась за поворот сугроба, – и когда Керн, стыдясь своих неловких движений, догнал ее в мягкой ложбине, среди ветвей, овеянных серебром, она поиграла пальцами в воздухе и, потапывая лыжами, побежала дальше. Керн постоял в лиловых тенях, и внезапно знакомым ужасом пахнула на него тишина. Кружева ветвей в эмалевом воздухе стыли, как в страшной сказке. Странными игрушками показались ему и деревья, и узорные тени, и лыжи его. Он почувствовал, что устал, что натер себе пятку, и, зацепляя торчавшие ветви, он повернул назад. По гладкой бирюзе реяли механические бегуны. Дальше, на снежном скате, терракотовый швед помогал встать на ноги длинному господину в роговых очках, облепленных снегом. Тот барахтался в сверкающей пыли, словно неуклюжая птица. Как отломанное крыло, лыжа, сорвавшись с ноги, быстро стекала по скату.

Вернувшись к себе в номер, Керн переоделся, и когда загудели тупые раскаты гонга, позвонил и велел подать себе холодного ростбифа, винограду и флягу “кианти”.

Он ощущал в плечах, в ляжках ноющую ломоту.

“Вольно мне было бегать за ней, – подумал он, усмехнувшись в нос. – Человек прикручивает к ногам пару досок и наслаждается законом притяжения. Это смешно”.

Около четырех он спустился в просторную читальню, где оранжевым жаром дышала пасть камина и в глубоких кожаных креслах невидимые люди вытягивали ноги из-под завес запахнутых газет. На длинном дубовом столе валялась куча журналов, полных туалетных объявлений, танцовщиц и парламентских цилиндров. Керн отыскал рваный номер “Татлера” за июль прошлого года и долго разглядывал в нем улыбку той женщины, которая в продолжение семи лет была его женой. Вспомнил ее мертвое лицо, ставшее таким холодным и крепким, – письма, найденные в шкапулке.

Оттолкнул журнал, скрипнув ногтем по лоснистой странице.

Затем, тяжело двигая плечами и сопя короткой трубкой, он прошел на огромную крытую веранду, где зябко играл оркестр и люди в ярких шарфах пили крепкий чай, готовые снова лететь на мороз, на скаты, что гудящим блеском били в широкие стекла. Ищущими глазами он оглядел веранду. Чей-то любопытный взгляд кольнул его, как игла, задевшая зубной нерв. Он круто повернул обратно.

В бильярдной, куда он боком вошел, упруго надавив дубовую дверь, – Монфиори, бледный, рыжий человек, признающий только Библию и карамболи, пригнулся к изумрудному сукну и целился в шар, взад и вперед скользя кием. Керн на днях познакомился с ним, и тот сразу осыпал его цитатами из Священного Писания. Он говорил, что пишет большой труд, в котором доказывает, что если особым образом вникнуть в книгу Иова, то тогда... – Но дальше Керн не слушал, так как вдруг обратил внимание на уши своего собеседника – острые, набитые канареечной пылью и с рыжим пушком на кончиках.

Чокнулись, разбежались шары. Монфиори, подняв брови, предложил партию. У него были грустные, слегка выпуклые глаза, какие бывают у коз.

Керн согласился было, даже потер кончик кия мелком, но, внезапно ощутив волну дикой скуки, от которой ныло под ложечкой и шумело в ушах, он сослался на ломоту в локте и, мимоходом взглянув в окно на сахарное сияние гор, вернулся в читальню.

Там, закинув ногу за ногу и вздрагивая лаковым башмаком, он снова разглядывал жемчужно-серый снимок – детские глаза и теньевые губы лондонской красавицы – его покойной жены. В первую ночь после вольной смерти ее он пошел за женщиной, которая улыбнулась ему на углу туманной улицы: мстил Богу, любви, судьбе.

А теперь эта Изабель с красным всплеском вместо рта. Если бы можно было...

Он жжал зубы: заходили мускулы крепких скул. Вся прошлая жизнь представилась ему зыбким рядом разноцветных ширм, которыми он ограждался от космических сквозняков. Изабель – последний яркий лоскуток. Сколько их было уже, шелковых тряпок этих, как он силился занавесить ими черный провал! Путешествия, книги в нежных переплетах, семилетняя восторженная любовь. Они вздувались, лоскутки эти, от внешнего ветра, рвались, спадали один за другим. А провала не скрыть, бездна дышит, всасывает. Это он понял, когда сыщик в замшевых перчатках...

Керн почувствовал, что раскачивается взад и вперед и что какая-то бледная барышня с розовыми бровями смотрит на него из-за журнала. Он взял “Таймс” со стола, распахнул исполинские листы. Бумажное покрывало над бездной. Люди выдумывают преступления, музеи, игры только для того, чтобы скрыться от неизвестного, от головокружительного неба. И теперь эта Изабель...

Откинув газету, он потер лоб огромным кулаком и снова заметил на себе чей-то удивленный взгляд. Тогда он медленно вышел из комнаты, мимо читавших ног, мимо оранжевой пасти камина. Заблудился в звонких коридорах, попал в какую-то залу, где в паркете отражались белые ножки выгнутых стульев и висела на стене широкая картина: Вильгельм Телль, пронзающий яблоко на голове сына; затем долго разглядывал свое бритое тяжелое лицо, кровавые ниточки на белках, клетчатый бант галстука – в зеркале, блиставшем в светлой уборной, где музыкально журчала вода и плавал в фарфоровой глубине кем-то брошенный золотой окурок.

А за окном гасли и синели снега. Нежно зацветало небо. Лопастни вращающихся дверей у входа в гулкий вестибюль медленно поблескивали, впуская облака пара и фыркающих ярколицых людей, уставших от снежных игр. Лестницы дышали шагами, возгласами, смехом. Затем гостиница замерла: переодевались к обеду.

Керн, смутно задремавший в кресле, в сумерках комнаты, был разбужен гудением гонга. Радуюсь внезапной бодрости, он зажег свет, вставил запонки в манжеты свежей крахмальной рубашки, вытянул плоские черные штаны из-под скрипнувшего прессы. Через пять минут, чувствуя прохладную легкость, плотность волос на темени, каждую линию своих отчетливых одежд, он спустился в столовую.

Изабель не было. Подали суп, рыбу – она не являлась.

Керн с отвращением оглядел матовых юношей, кирпичное лицо старухи с мушкой, скрывавшей прыщ, человека с козьими глазками – и хмуро уставился на кудрявую пирамидку гиацинтов в зеленом горшке.

Она явилась только тогда, когда в зале, где висел Вильгельм Телль, застучали и завыли негритянские инструменты.

От нее пахло морозом и духами. Волосы казались влажными. Что-то в ее лице поразило Керна.

Она ярко улыбнулась, поправляя на прозрачном плече черную ленточку.

– Я, знаете, только что пришла домой. Едва успела переодеться и проглотить сэндвич.

Керн спросил:

– Неужели вы до сих пор на лыжах бегали? Ведь совершенно темно.

Она посмотрела на него в упор, и Керн понял, что поразило его: глаза; они сияли, словно опущенные инеем.

Изабель тихо заскользила по голубиным гласным английской речи:

– Конечно. Было удивительно. Я в темноте носилась по скатам, взлетала с выступов.

Прямо в звезды.

– Вы могли убится, – сказал Керн.

Она повторила, пушисто щурясь:

– Прямо в звезды. – И добавила, сверкнув голой ключицей: – А теперь я хочу танцевать...

В зале трещал и подпевал негритянский оркестр. Цветисто плыли японские фонари. На носках, то быстрыми, то замирающими шагами, прижав ладонь к ее ладони, Керн тесно наступал на Изабель. Шаг – и упиралась в него ее стройная нога, шаг – и она упруго ему уступала. Душистый холод ее волос щекотал ему висок, под ребром правой руки он ощущал гибкие переливы ее оголенной спины. Не дыша, входил он в звуковые провалы, снова скользил с такта на такт... Кругом проплывали напряженные лица угловатых пар, развратно-рассеянные глаза. И тусклое пение струн перебивалось постукиванием варварских молоточков.

Музыка ускорилась, вздулась, затрещала и смолкла. Все остановились, затем захлопали в ладоши, требуя продолжения того же танца. Но музыканты решили передохнуть.

Керн, вынув из-за манжеты платок и вытирая лоб, последовал за Изабель, которая, раскачивая черный веер, пошла к дверям. Они рядом сели на ступеньке широкой лестницы.

Изабель, не глядя на него, сказала:

– Простите... Мне казалось, что я все еще в снегах, в звездах. Я даже не заметила, кто вы и хорошо ли танцуете.

Керн глухо взглянул на нее – и точно: она была погружена в свои сияющие думы, в думы, неведомые ему.

На ступеньке пониже сидел юноша в очень узком жакете и костлявая барышня с родинкой на лопатке. Когда снова запела музыка, юноша пригласил Изабель на бостон. Керну пришлось танцевать с костлявой барышней. От нее кислотовато пахло лавандой. По зале расплелись цветные бумажные ленты, опутывали танцующих. Один из музыкантов налепил себе белые усы, и Керну почему-то стало стыдно за него. Когда танец кончился, он, бросив свою даму, метнулся отыскивать Изабель. Ее нигде не было, ни в буфете, ни на лестнице.

“Кончено. Спать”, – кратко подумал Керн.

У себя в комнате, перед тем как лечь, он отвернул занавеску, без мысли поглядел в ночь. Перед гостиницей на темном снегу лежали отражения окон. Вдали металлические вершины гор плавали в гробовом сиянии.

Ему показалось, что он заглянул в смерть. Плотно сдвинул складки так, чтобы ни единый ночной луч не втекал в комнату. Но, выключив свет, он с постели заметил, что блестит край стеклянной полочки. Тогда он встал и долго возился у окна, проклиная лунные брызги. Пол был холоден как мрамор.

Когда Керн закрыл глаза, распустив поясok пижамы, под ним потекли скользкие скаты, – и гулко застучало сердце, словно весь день молчало, а теперь воспользовалось тишиной. Ему страшно стало слушать этот стук. Вспомнил, как однажды, с женой, он проходил в очень ветреный день мимо мясной лавки, и на крюке качалась туша, глухо бухала об стену. Вот как сердце его теперь. А жена щурилась от ветра, придерживая широкоую шляпу, и говорила, что море и ветер сводят ее с ума, что надо уехать, надо уехать...

Керн перевалился на другой бок – осторожно, – чтобы не лопнула грудь от выпуклых ударов.

Нельзя так дальше, пробормотал он в подушку, с тоской подобрав ноги. Полежал на спине, глядя в потолок, где тускло белели пробившиеся лучи – как ребра.

Когда он опять зажмурился, поплыли перед ним тихие искры, затем прозрачные спирали, которые раскручивались бесконечно. Мелькнули снежные глаза и огненный рот Изабель – и опять искры, спирали. Сердце на миг сжалось в острый комок: раздулось, бухнуло.

“Нельзя так дальше, я с ума схожу. Вместо будущего – черная стена. Ничего нет”.

Ему почудилось, что бумажные ленты скользят у него по лицу. Тонко шуршат и рвутся. И японские фонари текут цветной зыбью в паркете. Он танцует, наступает.

“Только бы вот разжать, распахнуть ее... А затем...”

И смерть ему представилась гладким сном, мягким падением. Ни мыслей, ни сердцебиения, ни ломоты.

Лунные ребра на потолке незаметно переменили место. По коридору тихо простучали шаги, где-то щелкнула задвижка, пролетел легкий звонок – и опять шаги, разные: бормота-

ние шагов, лепет шагов...

“Это, значит, кончился бал”, – подумал Керн. Перевернул душную подушку.

Теперь стыла кругом громадная тишина. Только сердце раскачивалось, тугое и тяжелое. Керн нащупал на ночном столике графин, глотнул из горлышка. Ледяная струйка обожгла шею, ключицу.

Он стал припоминать снотворные средства: вообразил волны, равномерно набегающие на берега. Затем пухлых серых овец, медленно перекатывающихся через плетень. Одна овца, вторая, третья...

“А в соседней комнате спит Изабель, – подумал Керн, – спит Изабель, в желтой пижаме, вероятно. Ей желтое идет. Испанский цвет. Если бы я поскреб ногтем по стене, она бы услышала. Ох, эти перебои...”

Он заснул в ту минуту, когда стал решать про себя, стоит ли зажечь лампу и почитать что-нибудь. На кресле валяется французский роман. Костяной нож скользит, режет страницы. Одну, вторую...

Он проснулся посреди комнаты – проснулся от чувства невыносимого ужаса. Ужас сшиб его с постели. Приснилось, что стена, у которой стоит кровать, стала медленно на него валиться – и вот он отскочил с судорожным выдохом.

Ощупью Керн стал отыскивать изголовье и, найдя его, тотчас бы заснул опять, если бы не звук, раздавшийся за стеной. Он не сразу понял, откуда звук этот исходит, – и оттого, что он напряг слух, его сознание, которое скользнуло было по склону сна, круто прояснилось. Звук повторился: дзынь – и густой перелив гитарных струн.

Керн вспомнил: ведь в соседнем номере Изабель. Тотчас, как бы откликнувшись его мысли, за стеной легко прокатился ее смех. Дважды, трижды дрогнула и рассыпалась гитара. И затем прозвучал и затих странный, отрывистый лай.

Керн, сидя на постели, изумленно вслушивался. Нелепая картина представилась ему: Изабель с гитарой и громадный дог, глядящий снизу на нее – блаженными глазами. Он приложил ухо к холодной стене. Лай лязгнул опять, гитара брякнула, как от щелчка, и волнами заходил непонятный шорох, словно там, в соседней комнате, за клубился широкий ветер. Шорох вытянулся в тихий свист, – и ночь снова налилась тишиной. Затем стукнула рама: Изабель заперла окно.

“Неугомонная, – подумал он, – пес, гитара, морозные сквозняки”.

Теперь все было тихо. Изабель, выпроводив звуки, игравшие у нее по комнате, вероятно легла – спит.

– К черту! Ничего не понимаю. Ничего нет у меня. К черту, к черту, – простонал Керн, зарываясь в подушку. Свинцовая усталость сжимала ему виски. В ногах была тоска, невыносимые мурашки. Долго он скрипел в темноте, тяжело переваливаясь. Лучи на потолке давно потухли.

II

На следующий день Изабель появилась только за вторым завтраком.

С утра небо слепило белизной, солнце походило на луну; затем пошел медленный отвесный снег. Частые хлопья, как мушки на белой вуали, занавесили вид на горы, отяжелевшие елки, помутившуюся бирюзу катка. Крупные и мягкие снежинки шуршали по стеклам окон, падали, падали, без конца. Если долго на них смотреть, начинало казаться, что вся гостиница тихо плывет вверх.

– Я так вчера устала, – говорила Изабель, обращаясь к своему соседу, молодому человеку с высоким оливковым лбом и стрелчатými глазами, – так устала, что решила понежиться в постели.

– Вид у вас сегодня оглушительный, – протянул молодой человек с экзотической любезностью.

Она насмешливо раздула ноздри.

Керн, посмотрев на нее через гиацинты, сказал холодно:

– А я не знал, мисс Изабель, что у вас в комнате собака, а также и гитара.

Ему показалось, что ее пушистые глаза еще более сузились – от ветерка смущения. Затем она вспыхнула улыбкой: кармин и слоновая кость.

– Вы вчера слишком долго гуляли под музыку, мистер Керн, – отвечала она, и оливковый юноша и человечек, признававший только Библию и биллиард, засмеялись – первый сочным гоготом, второй совсем тихо и подняв брови.

Керн поглядел исподлобья и сказал:

– Я вообще попросил бы вас не играть ночью. Сон у меня не очень легкий.

Изабель полоснула его по лицу быстрым сияющим взглядом:

– Это вы уж скажите вашим сновидениям, а не мне.

И заговорила с соседом о том, что завтра – лыжное состязание.

Керн уже несколько минут чувствовал, что губы его растягиваются в судорожную усмешку, которую он не мог удержать. Она мучительно дергалась в уголках рта, – и захотелось ему вдруг – стянуть со стола скатерть, запустить в стену горшок с гиацинтами.

Он поднялся, стараясь скрыть нестерпимую дрожь, и, никого не видя, вышел из комнаты.

“Что это со мной делается? – спрашивал он у своей тоски. – Что это такое?”

Пинком раскрыв чемодан, он стал укладывать вещи, – сразу закружилась голова; он бросил и опять зашагал по комнате. Со злобой набил короткую трубку. Сел в кресло у окна, за которым с тошнотворной ровностью падал снег.

Он приехал в эту гостиницу, в этот морозный и модный уголок Церматта, чтобы слить впечатления белой тишины с приятностью легких и пестрых знакомств – ибо полного одиночества он боялся пуще всего. А теперь он понял, что и людские лица нестерпимы ему, – что от снега гудит в голове – и что нет у него той вдохновенной живости и нежного упорства, без которых страсть бессильна. А для Изабель жизнь, вероятно, великолепный лыжный полет, стремительный смех – духи и мороз.

Кто она? Светописная ли дива, вырвавшаяся на волю? Или сбежавшая дочь чванного и желчного лорда? Или просто одна из тех женщин из Парижа, а деньги – неведомо откуда? Пошловатая мысль...

“А собака-то у нее есть, напрасно отнекивается: гладкий дог какой-нибудь. С холодным носом и теплыми ушами. А снег все идет, – беспорядочно думал Керн. – А у меня есть в чемодане... – И словно пружина, звякнув, раскрутилось у него в мозгу: – Парабеллум”.

До вечера он опять валандался по гостинице, сухо шуршал газетами в читальне; видел из окна вестибюля, как Изабель, швед и несколько молодых людей в пиджаках, натянутых на бахромчатые свитеры, садились в сани, по-лебединому выгнутые. Чалые лошадки звенели нарядной сбруей. Валил снег тихо и густо. Изабель, вся в белых звездинках, восклицала, смеялась между спутников своих, и когда санки дернулись, понеслись – откинулась назад, всплеснув и хлопнув меховыми рукавицами.

Керн отвернулся от окна.

– Катайся, катайся... Ничего...

Потом, во время обеда, он старался не смотреть на нее. Она была как-то празднично и взволнованно весела, – и на него не обращала внимания. В девять часов опять заняла и захвохтала негритянская музыка. Керн, в тоскливом ознобе, стоял у косяка дверей, глядел на слипшиеся пары, на кудрявый черный веер Изабель.

Тихий голос у самого уха сказал:

– Пойдемте в бар... Хотите?

Он обернулся и увидел: меланхолические козы глаза, уши в рыжем пуху.

В баре был пунцовый полусвет, воланы абажуров отражались в стеклянных столиках. У металлической стойки, на высоких табуретах сидели три господина – все трое в белых гетрах, – поджав ноги и всасывая сквозь соломинки яркие напитки. По другой стороне стойки, где на полках поблескивали разноцветные бутылки, словно коллекция выпуклых жуков, жирный черноусый человек в малиновом смокинге необычайно искусно мешал коктейли. Керн и Монфиори выбрали столик в бархатной глубине бара. Лакей распахнул длинный список напитков – бережно и благоговейно, как антиквар, показывающий дорогую книгу.

– Мы будем пить подряд по одной рюмке, – сказал ему Монфиори своим грустным

голосом. – А когда дойдем до конца, начнем опять. Будем тогда выбирать только то, что пришлось нам по вкусу. Быть может, остановимся на одном и долго будем им наслаждаться. Затем опять начнем сначала.

Он задумчиво посмотрел на лакея:

– Поняли?

Лакей наклонил пробор.

– Это так называемое странствие Вакха, – с печальной усмешкой обратился Монфиори к Керну. – Некоторые люди и в жизни применяют такой прием.

Керн заглушил зябкий зевок.

– Это, знаете, кончается рвотой.

Монфиори вздохнул. Отпил. Причмокнул. Выдвижным карандашиком отметил крестиком первый номер в списке. От крыльев носа шли у него две глубокие борозды к уголкам тонкого рта.

После третьей рюмки Керн молча закурил. После шестой – это была какая-то приторная смесь шоколада и шампанского – ему захотелось говорить.

Он выпустил рупор дыма; щурясь, отряхнул пепел желтым ногтем.

– Скажите, Монфиори, что вы думаете об этой – как ее – Изабель?..

– Вы ничего от нее не добьетесь, – ответил Монфиори. – Она из породы скользких. Ищет только прикосновений.

– Но она ночью играет на гитаре, с собакой возится. Это скверно, не правда ли? – сказал Керн, выпучив глаза на свою рюмку.

Монфиори опять вздохнул:

– Да бросьте вы ее. Право...

– Это вы, по-моему, из зависти, – начал было Керн.

Тот тихо перебил его:

– Она женщина. А у меня, видите ли, другие вкусы.

Скромно кашлянул. Поставил крестик.

Рубиновые напитки сменились золотыми. Керн чувствовал, что кровь у него становится сладкая. В голове туманилось. Белые гетры покинули бар. Умолкли дробь и напевы далекой музыки.

– Вы говорите, что нужно выбирать... – густо и вяло говорил он. – А я, понимаете, дошел до такой точки... Вот слушайте: у меня была жена. Она полюбила другого. Тот оказался вором. Крал автомобили, ожерелья, меха... И она отравилась. Стрихнином.

– А в Бога вы верите? – спросил Монфиори с видом человека, который попадает на своего конька. – Ведь Бог-то есть.

Керн фальшиво засмеялся:

– Библейский Бог. Газообразное позвоночное... Не верю.

– Это из Хукслея, – вкрадчиво заметил Монфиори. – А был библейский Бог... Дело в том, что Он не один; много их, библейских богов... Сонмище... Из них мой любимый... “От чихания его показывается свет; глаза у него, как ресницы зари”. Вы понимаете, понимаете, что это значит? А? И дальше: “...мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут”. Что? Что? Понимаете?

– Стойте, – крикнул Керн.

– Нет, вникайте, вникайте. “Он море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю: бездна кажется сединою!”

– Стойте же, наконец, – перебил Керн. – Я хочу вам сказать, что я решил покончить с собой...

Монфиори мутно и внимательно взглянул на него, ладошкой прикрыв рюмку. Помолчал.

– Я так и думал, – неожиданно мягко заговорил он. – Сегодня, когда вы смотрели на танцующих, и раньше, когда встали из-за стола... Было что-то в вашем лице... Морщинка между бровей... Особая... Я сразу понял...

Он затих, поглаживая край столика.

– Слушайте, что я вам скажу, – продолжал он, опустив тяжелые, лиловые веки в бороздах ресниц. – Я повсюду ищу таких, как вы, – в дорогих гостиницах, в поездах, на мор-

ских курортах, – ночью, на набережных больших городов...

Мечтательная усмешка скользнула по его губам.

– Я помню, однажды, во Флоренции...

Он медленно поднял свои козы глаза:

– Послушайте, Керн, я хочу присутствовать... Можно?

Керн, сутуло застывший, почувствовал холод в груди под крахмальной рубашкой.

“Мы оба пьяны... – пронеслось у него в мозгу. – Страшный он”.

– Можно? – вытягивая губы, повторил Монфиори. – Я вас очень прошу.

Коснулся холодной волосатой ручкой...

– К черту! Пустите меня... Я шутил...

Манфиори все так же внимательно смотрел, присасываясь глазами.

– Надоели вы мне! Все надоело, – рванулся, всплеснув руками, Керн, – и взгляд Монфиори оторвался, как бы чмокнув...

– Муть! Кукла!.. Игра слов!.. Баста!..

Он больно стукнулся бедром о край столика. Малиновый толстяк за своей зыбкой стойкой выпучил белый вырез, заплывал, как в кривом зеркале, среди своих бутылок. Керн прошел по скользким волнам ковра, плечом толкнул стеклянную падавшую дверь.

Гостиница глухо спала. С трудом поднявшись по мягкой лестнице, он отыскал свой номер. В соседней двери торчал ключ. Кто-то забыл запереться. В тусклом свете змеились цветы в коридоре. У себя в комнате он долго шарил по стене, ища электрическую кнопку. Затем рухнул в кресло у окна.

Он подумал, что нужно написать кое-какие письма. Прощальные. Но густой и липкий хмель ослабил его. В ушах клубился глухой гул, по лбу веяли ледяные волны. Надо было письмо написать, – и еще что-то не давало ему покоя. Точно он вышел из дома и забыл бумажник. В зеркальной черноте окна отражалась полоска воротника, бледный лоб. Пьяными каплями он забрызгал себе спереди рубашку. Письмо надо писать – нет, не то. И внезапно что-то мелькнуло в глазах. Ключ! Ключ, торчавший в соседней двери...

Керн тяжело встал, вышел в тусклый коридор. С громадного ключа спадала блестящая пластинка с цифрой 35. Он остановился перед этой белой дверью. Жадная дрожь потекла по ногам.

Морозный ветер хлестнул его по лбу. В просторной освещенной спальне окно было распахнуто. На широкой постели, в желтой открытой пижаме, навзничь лежала Изабель. Свесилась светлая рука, между пальцев тлея папироса. Сон, видно, схватил ее невзначай.

Керн подошел к постели. Стукнулся коленом о стул, на котором чуть зазвенела гитара. Синие волосы Изабель крутыми кругами лежали на подушке. Он поглядел на ее темные веки, на нежную тень между грудей. Тронул одеяло. Она мгновенно распахнула глаза. Тогда Керн, как-то сгорбившись, сказал:

– Мне нужна ваша любовь. Завтра я застрелюсь.

Ему никогда не снилось, что женщина – хоть и застигнутая врасплох – может так испугаться. Изабель сначала застыла, потом метнулась, оглянувшись на открытое окно, – и, мгновенно соскользнув с постели, пронеслась мимо Керна – с наклоненной головой, словно боялась удара сверху.

Стукнула дверь. Листы почтовой бумаги слетели со стола.

Керн остался стоять посреди просторной и светлой комнаты. На ночном столике лиловел и золотился виноград.

– Сумасшедшая! – сказал он вслух.

Трудно повел плечами. Содрогнулся от холода длинной дрожью, как конь. И внезапно замер.

За окном рос, летел, приближался взволнованными толчками – быстрый и радостный лай. Через миг провал окна, квадрат черной ночи, заполнился, закипел сплошным бурным мехом. Широкий и шумный махом этот рыхлый мех скрыл ночное небо, от рамы до рамы. Миг, и он напряженно вздулся, косо ворвался, раскинулся. В свистящем размахе буйного меха мелькнул белый лик. Керн схватился за гриф гитары, со всех сил ударил белый лик, летевший на него. Его сшибло с ног ребро исполинского крыла, пушистая буря. Звериным запахом обдало его. Керн, рванувшись, встал.

Посредине комнаты лежал громадный ангел.

Он заполнял всю комнату, всю гостиницу, весь мир. Правое крыло согнулось, опираясь углом в зеркальный шкаф. Левое тяжело раскачивалось, цепляясь за ножки опрокинутого стула. Стул громыхал по полу взад и вперед. Бурая шерсть на крыльях дымилась, отливала инеем. Оглушенный ударом, ангел опирался на ладони, как сфинкс. На белых руках вздулись синие жилы, на плечах вдоль ключиц были теневые провалы. Глаза, продолговатые, словно близорукие, бледно-зеленые, как воздух перед рассветом, не мигая, смотрели на Керн из-под прямых, сросшихся бровей.

Керн, задыхаясь от острого запаха мокрого меха, стоял неподвижно, в бесстрастности предельного страха, разглядывая гигантские, дымящиеся крылья, белый лик.

За дверью, в коридоре раздался глухой шум. Тогда другое чувство овладело Керном: щемящий стыд.

Ему стало стыдно, до боли, до ужаса, что сейчас могут войти, застать его и это невероятное существо.

Ангел шумнодохнул, двинулся, руки его ослабли; он упал на грудь. Колыхнул крылом. Керн, скрипя зубами, стараясь не глядеть, нагнулся над ним, охватил холм сырой пахучей шерсти, холодные, липкие плечи. С тошным ужасом он заметил, что ноги у ангела бледные и бескостные, что стоять на них он не может. Ангел не противился. Керн, спеша, поволок его к шкафу, откинул зеркальную дверь, стал вталкивать, втискивать крылья в скрипучую глубину. Он хватался за ребра их, старался согнуть их, вдавить. Складки меха, раскручиваясь, ударяли его по груди. Наконец он крепко двинул дверью. В тот же миг изнутри вырвался раздирающий и нестерпимый вопль – вопль зверя, раздавленного колесом. Ах, он ему прищемил крыло. Уголок крыла торчал из щели. Керн, слегка раскрыв дверь, ладонью втокнул курчавый клин. Повернул ключ в замке.

Стало очень тихо. Керн почувствовал, что горячие слезы стекают у него по лицу. Он выдохнул и кинулся в коридор. Изабель – ворох черного шелка, скорчившись, лежала у стены. Он поднял ее на руки, понес к себе в комнату, опустил ее на постель. Затем выхватил из чемодана тяжелый парабеллум, захлопнул обойму – и бегом, не дыша, ворвался обратно в № 35-й.

Две половинки разбитой тарелки белели на ковре. Виноград рассыпался.

Керн увидел себя в зеркальной двери шкафа: прядь волос, спустившуюся на бровь, крахмальный вырез в красных брызгах, продольный блеск на дуле пистолета.

– Его надо прикончить, – глухо воскликнул он и распахнул шкаф.

Только вихрь пахучего пуха. Бурые маслянистые хлопья за клубились по комнате. Шкаф был пуст. Внизу белела шляпная картонка, продавленная.

Керн подошел к окну, выглянул. Мохнатые облачки наплывали на луну и дышали вокруг нее тусклыми радугами. Он закрыл рамы, поставил на место стул, отшаркнул под кровать бурые хлопья пуха. Затем осторожно вышел в коридор. Было по-прежнему тихо. Люди крепко спят в горных гостиницах.

А когда он вернулся к себе в номер, то увидел: Изабель, свесив босые ноги с постели, дрожит, зажав голову. Стало ему стыдно, как давеча, когда ангел смотрел на него своими зеленоватыми странными глазами.

– Скажите мне... где он? – быстро задышала Изабель.

Керн, отвернувшись, подошел к письменному столу, сел, открыл бювар, ответил:

– Не знаю.

Изабель втянула на постель босые ноги.

– Можно остаться у вас... пока? Я так боюсь...

Керн молча кивнул. Сдерживая дрожь в руке, принялся писать. Изабель заговорила снова – трепетно и глухо, но почему-то Керну показалось, что испуг ее – какой-то женский, житейский.

– Я встретила его вчера, когда в темноте летела на лыжах. Ночью он был у меня.

Керн, стараясь не слушать, писал размашистым почерком:

“Мой милый друг. Вот мое последнее письмо. Я никогда не мог забыть, как ты мне помог, когда на меня обрушилось несчастье. Он, вероятно, живет на вершине, где ловит горных орлов и питается их мясом...”

Спохватился, резко вычеркнул, взял другой лист. Изабель всхлипывала, спрятав лицо в подушку:

– Как же мне быть теперь?.. Он станет мстить мне... О, Господи...

“Мой милый друг, – быстро писал Керн, – она искала незабываемых прикосновений, и вот теперь у нее родится крылатый зверек...” А... Черт!

Скомкал лист.

– Постарайтесь уснуть, – обратился он через плечо к Изабель. – А завтра уезжайте. В монастырь.

Плечи у нее часто ходили. Затем она утихла.

Керн писал. Перед ним улыбались глаза единственного человека на свете, с которым он мог свободно говорить и молчать. Он ему писал, что жизнь кончена, что он недавно стал чувствовать, как вместо будущего надвигается на него черная стена, – и что вот теперь случилось нечто такое, после чего человек не может и не должен жить. “Завтра в полдень я умру, – писал Керн, – завтра – потому что хочу умереть в полной власти своих сил, при трезвом дневном свете. А сейчас я слишком потрясен”.

Докончив, он присел в кресло у окна. Изабель спала, чуть слышно дыша. Тягучая усталость обхватила ему плечи. Сон спустился мягким туманом.

III

Он проснулся от стука в дверь. Морозная лазурь лилась в окно.

– Войдите, – сказал он, потянувшись.

Лакей беззвучно поставил поднос с чашкой чая на стол, поклонился и вышел.

Керн про себя рассмеялся: “А я-то в помятом смокинге”.

И мгновенно вспомнил, что было ночью. Вздрогнув, взглянул на постель. Изабель не было. Верно, ушла под утро к себе. А теперь, конечно, уехала... Бурые, рыхлые крылья на миг померещились ему. Он быстро встал – открыл дверь в коридор.

– Послушайте, – крикнул он удалявшейся спине лакея, – возьмите письмо.

Подошел к столу, пошарил. Лакей ждал в дверях. Керн похлопал себя по всем карманам, посмотрел под кресло.

– Можете идти. Я потом передам швейцару.

Пробор наклонился, мягко прикрылась дверь.

Керну стало досадно, что письмо потеряно. Именно это письмо. В нем он выразил так хорошо, так плавно и просто все, что нужно было. А теперь слова он вспомнить не мог. Всплывали нелепые фразы. Нет, письмо было чудесное.

Он принялся писать заново – и выходило холодно, витиевато. Запечатал. Четко надписал адрес.

Ему стало странно легко на душе. В полдень он застрелится, а ведь человек, решившийся на самоубийство, – Бог.

Сахарный снег сиял в окно. Его потянуло туда – в последний раз.

Тени инистых деревьев лежали на снегу, как синие перья. Где-то густо и сладко звенели бубенцы. Народу высыпало много: барышни в шерстяных шапочках,двигающиеся на лыжах пугливо и неловко, молодые люди, которые звучно перекликались, выдыхая облака хохота, и пожилые люди, багровые от напряжения, – и какой-то сухой синеглазый старичок, волочивший за собой бархатные саночки. Керн мимолетно подумал: не хватить ли старичка по лицу, наотмашь, так, просто... Теперь ведь все позволено... Рассмеялся... Давно он не чувствовал себя так хорошо.

Все тянулись к тому месту, где началось лыжное состязание. Это был высокий крутой скат, переходивший посередине в снеговую площадку, которая отчетливо обрывалась, образуя прямоугольный уступ. Лыжник, скользя по крутизне, пролетел с уступа в лазурный воздух; летел, раскинув руки, и, стоймя опустившись в продолжение ската, скользил дальше. Швед только что побил свой же последний рекорд и далеко внизу, в вихре серебристой пыли круто завернул, выставив согнутую ногу.

Прокатили еще двое в черных свитерах, прыгнули, упруго стукнули о снег.

– Сейчас пролетит Изабель, – сказал тихий голос у плеча Керн. Керн быстро подумал: “Неужели она еще здесь... Как она может...” – посмотрел на говорившего. Это Монфиори. В котелке, надвинутом на оттопыренные уши, в черном пальтишке с полосками блеклого бархата на воротнике, он смешно отличался от шерстяной легкой толпы. “Не рассказать ли ему?” – подумал Керн.

С отвращением оттолкнул бурые пахучие крылья: “Не надо думать об этом”.

Изабель поднялась на холм. Обернулась, говоря что-то спутнику своему весело, весело как всегда. Жутко стало Керну от этой веселости. Показалось ему, что над снегами, над стеклянной гостиницей, над игрушечными людьми – мелькнуло что-то – содрогание, отблеск...

– Как вы сегодня поживаете? – спросил Монфиори, потирая мертвые свои ручки.

Одновременно кругом зазвенели голоса:

– Изабель! Летучая Изабель!

Керн вскинул голову. Она стремительно неслась по крутому скату. Мгновение – и он увидел: яркое лицо, блеск на ресницах. С легким свистом она скользнула по трамплину, взлетела, повисла в воздухе – распятая. А затем...

Никто, конечно, не мог ожидать этого. Изабель на полном лету судорожно скорчилась и камнем упала, покатила, колеся лыжами в снежных всплесках.

Сразу скрыли ее из виду спины шарахнувшихся к ней людей. Керн, подняв плечи, медленно подошел. Ясно, как будто крупным почерком написанное, встало перед ним: месть, удар крыла.

Швед и длинный господин в роговых очках наклонялись над Изабель. Господин в очках профессиональными движениями ощупывал неподвижное тело. Бормотал:

– Не понимаю... Грудная клетка проломана...

Приподнял ей голову. Мелькнуло мертвое, словно оголенное лицо.

Керн повернулся, хрустнув каблуком, и крепко зашагал по направлению к гостинице. Рядом с ним семенил Монфиори, забегал вперед, заглядывал ему в глаза.

– Я сейчас иду к себе наверх, – сказал Керн, стараясь проглотить, сдержать рыдающий смех. – Наверх... Если вы хотите пойти со мной...

Смех подступил к горлу, заклокотал. Керн, как слепой, поднимался по лестнице. Монфиори поддерживал его робко и торопливо.

1924

Впервые: “Русское эхо”. 1924. № 1

8. МЕСТЬ

I

Остенде, каменная пристань, серый шtrand, далекий ряд гостиниц медленно поворачивались, уплывали в бирюзовую муть осеннего дня.

Профессор закутал ноги в клетчатый плед и со скрипом откинулся в парусиновый уют складного кресла. На чистой охряной палубе былолюдно, но тихо. Сдержанно ухали котлы.

Молоденькая англичанка в шерстяных чулках бровью указала на профессора.

– Похож на Шелдона, не правда ли? – обратилась она к брату, стоящему подле.

Шелдон был комический актер, – лысый великан с круглым рыхлым лицом.

– Он очень доволен морем.. – тихо добавила англичанка. После чего она, к сожаленью, выпадает из моего рассказа.

Брат ее, мешковатый рыжий студент, возвращающийся в свой университет – кончались летние каникулы, – вынул изо рта трубку и сказал:

– Это наш биолог. Великолепный старик. Нужно мне поздороваться с ним.

Он подошел к профессору. Тот поднял тяжелые веки. Узнал одного из худших и прилежнейших своих учеников.

– Переход будет превосходен, – сказал студент, легко пожав большую холодную руку,

поданную ему.

– Я надеюсь, – отвечал профессор, пальцами поглаживая серую свою щеку. И повторил внушительно: – Да, я надеюсь.

Студент скользнул глазами по двум чемоданам, стоящим рядом со складным креслом. Один был старый, степенный: как пятна птичьего помета на памятниках, белели на нем следы давнишних наклеек. Другой – совсем новый, оранжевый, с горящими замками, почему-то привлек внимание студента.

– Позвольте, подниму ваш чемодан, – а то упадет, – предложил он, чтобы как-нибудь поддержать разговор.

Профессор усмехнулся. Не то седобровый комик, не то стареющий боксер...

– Чемодан, говорите? А знаете ли, что я в нем везу? – спросил он, словно с некоторым раздражением. – Не угадываете? Прекрасный предмет!.. Особый род вешалки...

– Немецкое изобретение, сэръ? – подсказал студент, вспомнив, что биолог только что побывал в Берлине на ученом съезде.

Профессор засмеялся сочным скрипучим смехом. Огнем брызнул золотой зуб.

– Божественное изобретение, друг мой, божественное. Необходимое всякому человеку. Впрочем, вы сами возите с собой такой же предмет. А? Или, может быть, вы – полип?

Студент осклабился. Знал, что профессор склонен темно шутить. О старике много толковали в университете. Говорили, что мучит он свою жену – совсем молодую женщину. Студент раз видел ее: худенькая такая, с поразительными глазами...

– Как поживает, сэръ, супруга ваша? – спросил рыжий студент.

Профессор отвечал:

– Открою вам правду, мой дорогой друг. Я долго боролся с собой, но теперь принужден вам сказать... Мой дорогой друг, я люблю путешествовать молча. Верю, вы простите меня.

И тут, разделяя участь своей сестры, студент, смущенно посвистывая, навсегда уходит с этих страниц.

А биолог надвинул черную фетровую шляпу на щетинистые брови, так как ослепительно била в глаза морская зыбь, и погрузился в мнимый сон. Серое бритое лицо его, с крупным носом и тяжелым подбородком, было облито солнцем и казалось только что вылепленным из мокрой глины. Когда на солнце набегало легкое осеннее облако, лицо профессора становилось вдруг каменным – темнело и высыхало. Все это, конечно, было лишь сменой теней и света, а не отражением мыслей его. Вряд ли на профессора приятно было бы смотреть, если бы действительно мысли его отражались.

Дело в том, что на днях он получил из Лондона от наемного сыщика донесение о том, что жена ему изменяет. Перехвачено было письмо, написанное мелким, знакомым почерком и начинающееся так: “Мой любимый, мой Джэк, я еще полна твоим последним поцелуем...”

А профессора звали отнюдь не Джэком. В этом-то и была сущность всего дела. Сообразив это, он почувствовал не удивление, не боль и даже не мужественную досаду, а – ненависть, острую и холодную, как ланцет. Он понял совершенно отчетливо, что жену свою он убьет. Колебаний быть не могло. Оставалось только придумать самый мучительный, самый изощренный вид убийства. Откинувшись в складном кресле, он в сотый раз перебирал все попытки, описанные путешественниками и средневековыми учеными. Ни одна ему не казалась достаточно болезненной. Когда вдали, на грани зеленой зыби, забелели скалы Довера, он еще ничего не решил.

Пароход смолк и, покачиваясь, пристал. Профессор последовал по сходням за носильщиком. Таможенный чиновник, скороговоркой перечтя вещи, не подлежащие ввозу, попросил открыть чемодан – новый, оранжевый. Профессор повернул легкий ключик в замке, отпахнул кожаную крышку. Сзади него какая-то русская дама громко вскрикнула: батюшки! – и затем нервно рассмеялась. Двое бельгийцев, стоящих по бокам профессора, взглянули на него как-то снизу; один пожал плечами, другой тихо свистнул. Англичане бесстрастно отвернулись. Чиновник, взятый врасплох, выпучил глаза на содержимое чемодана. Всем было очень жутко и неловко.

Биолог холодно назвал себя, упомянул университетский музей. Лица прояснились. Опечалились только несколько дам, поняв, что преступления не произошло.

– Но почему вы возите это в чемодане? – с почтительным укором спросил чиновник, осторожно опустив крышку и чиркнув мелом по яркой коже.

– Я торопился, – сказал профессор, устало жмурясь, – некогда было заколачивать в ящик. Притом вещь ценная, в багаж я не отдал бы.

Профессор сутулой, но упругой поступью прошел на дебаркадер, мимо полисмена, похожего на громадную игрушку. Но внезапно он остановился, как бы вспомнив что-то, и со светлой, доброй улыбкой пробормотал: “А! Найдено... Остроумнейший способ...” Затем облегченно вздохнул, купил два банана, пачку папирос, хрустящие простыни газет – и через несколько минут летел в уютном отделении континентального экспресса, вдоль сияющего моря, вдоль белых откосов, вдоль изумрудных пастбищ Кента.

II

Действительно чудесные глаза... Зрачок – что блестящая капля чернил на сизом атласе. Волосы – подстриженные, бледно-золотые: шапка пышного пуха. Сама – маленькая, прямая, с плоской грудью.

Она ждала мужа уже накануне, а сегодня наверное знала, что он приедет. В сером открытом платье, в бархатных туфельках, сидела она на павлиньей тахте, в гостиной, и думала о том, что напрасно муж не верит в духов и откровенно презирает молодого шотландца-спирита с белыми нежными ресницами, который иногда у нее бывает. Ведь с нею и впрямь случаются странные вещи. Недавно во сне ей явился покойник-юноша, с которым до замужества она блуждала в сумерках, когда так призрачно белеет цветущая ежевика. Утром она, еще как бы в дремоте, написала ему карандашом письмо – письмо своему сновиденью. В этом письме она солгала бедному Джэку. Ведь она его почти забыла, любит испуганной, но верной любовью своего страшного, мучительного мужа, а меж тем хотелось теплотою земных слов согреть, ободрить милого, призрачного гостя. Письмо таинственно исчезло из бювара, и в ту же ночь ей приснился длинный стол, из-под которого вдруг вылез Джэк и благодарно закивал ей... Теперь ей почему-то было неприятно вспоминать этот сон... Словно она мужу изменила с призраком...

В гостиной было тепло и нарядно. На широком низком подоконнике лежала шелковая подушка, ярко-желтая в фиолетовую полоску...

Профессор приехал в ту самую минуту, когда она решила, что пароход его пошел ко дну. Выглянув из окна, она увидела черный верх таксомотора, протянутую ладонь шофера и тяжелые плечи мужа, который, нагнув голову, платил. Пролетела по комнатам, просеменила вниз по лестнице, качая худенькими, оголенными руками.

Он поднимался ей навстречу, сутулый, в широком пальто. За ним слуга нес чемоданы.

Она прижалась к его шерстяному кашне, легко подняв каблуком вверх одну ногу, тонкую, в сером чулке. Он поцеловал ее в теплый висок. С мягкой усмешкой отстранил ее руки.

– Я запылен... погоди... – пробормотал он, держа ее за кисти.

Она, жмурясь, тряхнула головой – бледным пожаром волос.

Профессор, нагнувшись, поцеловал ее в губы, усмехнулся опять.

За ужином, выпучив белую кольчугу крахмальной рубашки и крепко двигая лоснистыми скулами, он рассказывал о своем недолгом путешествии. Был сдержанно весел. Крутые шелковые отвороты его жакета, бульдожья челюсть, лысая громадная голова с железными жилками на висках – все это возбуждало в жене его чудесную жалость: так жаль ей было всегда, что он, изучающий все пылинки жизни, не хочет войти к ней в мир, где текут стихи Деламара и проносятся нежнейшие астры.

– Что, постукивали без меня твои призраки? – спросил он, угадав ее мысли.

Ей захотелось рассказать ему о сновидении, о письме, – но было как-то совестно...

– А знаешь, – продолжал он, осыпая сахаром розовый ремень, – ты и твои друзья играют с огнем. Действительно странные бывают вещи. Мне один венский доктор на днях рассказал о невероятных перевоплощениях. Женщина одна, – гадалка такая, кликуша, – умерла – от разрыва сердца, что ли? – и когда доктор раздел ее – это было в мадьярской лачуге, при свечах, – то тело этой женщины поразило его: оно было все подернуто краснова-

тым блеском, мягкое и склизкое на ощупь. И приглядевшись, он понял, что это тело, полное и тугое, сплошь состоит как бы из тонких круговых поясков кожи, – словно оно было все перевязано – ровно, крепко – незримыми нитками, – или вот есть такая реклама шин французских – человек, состоящий из шин... Только у нее шины были совсем тонкие и бледно-красные. И пока доктор смотрел, тело мертвой стало медленно распутываться, как огромный клубок... ее тело было тонким, бесконечно длинным червем, который разматывался и полз – уходил под дверную щель, – и на постели остался голый, белый, еще влажный костяк... А ведь у этой женщины был муж, – он когда-то целовал ее, – целовал червя...

Профессор налил себе рюмку портвейна цвета красного дерева и стал пить густыми глотками, не отрывая сощуренных глаз от лица жены. Она зябко повела худыми, бледными плечами...

– Ты сам не знаешь, какую страшную вещь ты мне рассказал, – проговорила она взволновано. – Значит, дух женщины ушел в червя. Страшно все это...

– Я иногда думаю, – сказал профессор, тяжело выстрелив манжетой и рассматривая свои тупые, серые пальцы, – что в конце-то концов моя наука – праздный обман, что физические законы выдуманы нами, что все, решительно все, может случиться... Те, кто предаются таким мыслям, сходят с ума...

Он заглушил зевок, постукивая сжатым кулаком по губам.

– Что с тобой случилось, друг мой? – тихо воскликнула его жена. – Ты никогда так не говорил раньше... Мне казалось, ты все знаешь... все разметил...

На мгновенье судорожно раздулись ноздри у профессора, вспыхнул золотой клык. Но тотчас же его лицо обмякло снова.

Он потянулся и встал из-за стола.

– Болтаю я... пустое... – сказал он ласково и спокойно. – Я устал... Спать пойду... Не зажигай свет, когда войдешь. Прямо ложись в нашу постель... В нашу, – повторил он значительно и нежно, как давно не говорил.

Это слово мягко звенело у нее в душе, когда она осталась одна в гостиной.

Пять лет была замужем она, и несмотря на причудливый нрав мужа, на частые вихри его беспричинной ревности, на молчанье, и угрюмость, и непонятливость – она чувствовала себя счастливой, так как любила и жалела его. Она, тонкая, белая, – он, громадный, лысый, с ключьями серой шерсти посередине груди, составляли невозможную, чудовищную чету, – и все же ей приятны были его редкие сильные ласки.

Хризантема, стоящая в вазе на камине, уронила с сухим шорохом несколько загнутых лепестков.

Она вздрогнула, неприятно екнуло сердце, ей вспомнилось, что воздух всегда полон призраков, что даже ученый муж ее отметил их страшное проявление. Вспомнилось ей, как Джэки вынырнул из-под стола и с жуткой нежностью ей закивал. Показалось, что в комнате все предметы выжидательно на нее смотрят. Ветер страха обдал ее. Она быстро вышла из гостиной, удерживая нелепый крик. Передохнула: какая я, право, глупая... В туалетной комнате долго разглядывала в зеркале свои блестящие зрачки. Ее маленькое лицо в шапке пушистого золота показалось ей чужим...

Легкая, как девочка, – в одной кружевной сорочке, – она вошла, стараясь не задеть мебель, в темную спальню. Протянула руки, нащупала изголовье постели, легла с краю. Знала, что не одна, что муж лежит рядом. Несколько мгновений неподвижно глядела вверх, чувствуя, как дико и глухо бухает сердце в груди.

Когда глаза ее привыкли к темноте, пересеченной полосками луны, льющейся сквозь кисейную штору, она повернула голову к мужу. Он лежал спиной к ней, закутавшись в одеяло. Она только видела его лысое темя, которое казалось необычайно гладким и белым в луже лунного света.

“Не спит, – ласково подумала она, – если бы спал, то похрапывал...”

Улыбнулась – и быстро всем телом скользнула к мужу, раскинула под одеялом руки для знакомого объятия. Пальцы ее вонзились в гладкие ребра. Коленом ударила она в гладкую кость. Череп, вращая черными глазницами, покатился с подушки к ней на плечо.

Распахнулся электрический свет. Профессор в своем грубом смокинге, сияя вздутой крахмальной грудью, глазами, громадным лбом, вышел из-за ширмы и подошел к постели.

Одеяло, простыни, спутавшись, сползли на ковер. Жена его лежала мертвая, обнимая белый, кое-как свинченный скелет горбуна, что профессор приобрел за границей для университета музея.

Впервые: "Русское эхо". 1924. № 15.

9. ПАСХАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

В этот день одинокая и старая швейцарка – Жозефина Львовна, как именовали ее в русской семье, где прожила она некогда двенадцать лет, – купила полдюжины яиц, черную кисть и две пурпурных пуговицы акварели. В этот день цвели яблони, и реклама кинематографа на углу отражалась вверх ногами в гладкой луже, и утром горы за озером Лемана были подернуты сплошной шелковистой дымкой, подобной полупрозрачной бумаге, которой покрываются офорты в дорогих книгах. Дымка обещала погожий день, но солнце только скользнуло по крышам косых каменных домишек, по мокрым проволокам игрушечного трамвая и снова растаяло в туманах; день выдался тихий, по-весеннему облачный, а к вечеру пахло с гор тяжелым ледяным ветром, и Жозефина, шедшая к себе домой, так закашлялась, что в дверях пошатнулась, побагровела, оперлась на свой туго спеленутый зонтик, узкий, как черная трость.

В комнате уже было темно. Когда она зажгла лампу, осветились ее руки, худые, обтянутые глянцевитой кожей, в старческих веснушках, с белыми пятнышками на ногтях.

Жозефина разложила на столе свои покупки, сбросила пальто и шляпу на постель, налила воды в стакан и, надев пенсне с черными ободками, – от которых темно-серые глаза ее стали строгими, под густыми, траурными бровями, сросшимися на переносице, – принялась красить яйца. Но оказалось, что акварельный кармин почему-то не пристает, надо было, пожалуй, купить какой-нибудь химической краски, да она не знала, как спрашивать, постеснялась объяснить. Подумала: не пойти ли к знакомому аптекарю, – заодно достала бы аспирина. Тело было так вяло, от жара ныли глазные яблоки; хотелось тихо сидеть, тихо думать. Сегодня у русских – страстная суббота.

Когда-то на Невском проспекте оборванцы продавали особого рода щипцы. Этими щипцами было так удобно захватить и вынуть яйцо из горячей темно-синей или оранжевой жидкости. Но были также и деревянные ложки: легко и плотно постукивали о толстое стекло стаканов, в которых пряно дымилась краска. Яйца потом сохли по кучкам – красные с красными, зеленые с зелеными. И еще иначе расцветывали их: туго обертывали в тряпочки, подложив бумажку декалькомани, похожую на образцы обоев. И после варки, когда лакей приносил обратно из кухни громадную кастрюлю, так занятно было распутывать нитки, вынимать рябые, мраморные яйца из влажных, теплых тряпок: от них шел нежный пар, детский запах.

Странно было старой швейцарке вспоминать, что, живя в России, она тосковала, посылала на родину, друзьям, длинные меланхолические, прекрасно написанные письма о том, что она всегда чувствует себя лишней, непонятой. Ежедневно после завтрака ездила она кататься с воспитанницей Элен в широком открытом ландо; и рядом с толстым задом кучера, похожим на исполинскую синюю тыкву, сутулилась спина старика – выездного, – золотые пуговицы, кокарда. И из русских слов она только и знала, что: кучер, тиш-тиш, нитчего...

Петербург покинула она со смутным облегчением, – как только началась война. Ей казалось, что теперь она без конца будет наслаждаться болтовней вечерних друзей, уютом родного городка. А вышло как раз наоборот; настоящая ее жизнь – то есть та часть жизни, когда человек острее и глубже всего привыкает к вещам и к людям, – протекла там, в России, которую она бессознательно полюбила, поняла и где ныне Бог весть что творится... А завтра – православная Пасха.

Жозефина Львовна шумно вздохнула, встала, прикрыла плотнее оконницу. Посмотрела на часы – черные, на никелевой цепочке. Надр было все-таки что-нибудь сделать с яйцами этими: она предназначила их в подарок Платоновым, пожилой русской чете, недавно осевшей в Лозанне, в родном и чуждом ей городке, где трудно дышать, где дома построены

случайно, вповалку, вкривь и вкось – вдоль крутых угловатых улочек.

Она задумалась, слушая гул в ушах, потом встрепенулась, вылила в жестяную банку пузырек лиловых чернил и осторожно опустила туда яйцо.

Дверь тихо отворилась. Вошла, как мышь, соседка, м-ль Финар – тоже бывшая гувернантка, – маленькая, худенькая, с подстриженными, сплошь серебряными волосами, закутанная в черный платок, отливающий стеклярусом. Жозефина, услыша ее мышинные шажки, неловко прикрыла газетой банку, яйца, что сохли на промокательной бумаге.

– Что вам нужно? Я не люблю, когда входят ко мне так...

М-ль Финар боком взглянула на взволнованное лицо Жозефины, ничего не сказала, но страшно обиделась и молча, все той же мелкой походкой, вышла из комнаты.

Яйца были теперь ядовито-фиолетового цвета. На одном – непокрашенном – она решила начертить две пасхальных буквы, как это всегда делалось в России. Первую букву “Х” написала хорошо, – но вторую никак не могла правильно вспомнить, и в конце концов вышло у нее вместо “В” нелепое кривое “Я”. Когда чернила совсем высохли, она завернула яйца в мягкую туалетную бумагу и вложила их в кожаную свою сумку.

Но какая мучительная вялость... Хотелось лечь в постель, выпить горячего кофе, вытянуть ноги... Знобило, колело веки... И когда она вышла на улицу, снова сухой хреск кашля подступил к горлу. На дворе было пустынно, сыро и темно. Платоновы жили неподалеку. Они сидели за чайным столом, и Платонов, плешивый, с жидкой бородкой, в саржевой рубашке с косым воротом, набивал в гильзы желтый табак, – когда, стукнув в дверь набалдашником зонтика, вошла Жозефина Львовна.

– А, добрый вечер, Mademoiselle...

Она подседа к ним, безвкусно и многословно заговорила о том, что завтра – русская Пасха. Вынула по одному фиолетовые яйца из сумки. Платонов приметил то, на котором лиловели буквы “Х. Я.”, и рассмеялся.

– Что это она еврейские инициалы закатила...

Жена его, полная дама, со скорбными глазами, в желтом парике, вскользь улыбнулась; равнодушно стала благодарить, растягивая французские гласные. Жозефина не поняла, почему засмеялись. Ей стало жарко и грустно. Опять заговорила; чувствовала, что говорит совсем не то, – но не могла остановиться:

– Да, в этот момент в России нет Пасхи... Это бедная Россия. О, я помню, как целовались на улицах. И моя маленькая Элэн была в этот день как ангел... О, я по целым ночам плачу, когда думаю о вашей прекрасной родине...

Платоновым было всегда неприятно от этих разговоров. Как разорившиеся богачи скрывают нищету свою, становятся еще горделивее, неприступнее, так и они никогда не толковали с посторонними о потерянной родине, и потому Жозефина считала втайне, что они России не любят вовсе. Обычно, когда она приходила к ним, ей казалось, что вот начнет она говорить со слезами на глазах об этой прекрасной России, и вдруг Платоновы расплачутся и станут тоже вспоминать, рассказывать, и будут они так сидеть втроем всю ночь, вспоминая и плача, и пожимая друг другу руки.

А на самом деле этого не случалось никогда... Платонов вежливо и безучастно кивал бородкой, – а жена его все норовила расспросить, где подешевле можно достать чаю, мыла.

Платонов принялся вновь набивать папиросы; жена его ровно раскладывала их в картонной коробке. Оба они рассчитывали прилечь до того, как пойти к заутрене, – в греческую церковь за углом... Хотелось молчать, думать о своем, говорить одними взглядами, особыми, словно рассеянными улыбками, о сыне, убитом в Крыму, о пасхальных мелочах, о домово́й церкви на Почтамтской, а тут эта болтливая сентиментальная старуха, с тревожными темно-серыми глазами, пришла, вздыхает, и так будет сидеть до того времени, пока они сами не выйдут из дому.

Жозефина замолкла: жадно мечтала о том, что, быть может, ее пригласят тоже пойти в церковь, а после – разговляться. Знала, что накануне Платоновы пекли куличи, и хотя есть она, конечно, не могла, слишком знобило, – но все равно, – было бы хорошо, тепло, празднично.

Платонов скрипнул зубами, сдерживая зевок, и украдкой взглянул себе на кисть, на циферблат под решеточкой. Жозефина поняла, что ее не позовут. Встала.

– Вам нужно немного отдыха, мои добрые друзья. Но до того, как уйти, я хочу вам сказать... – И, близко подойдя к Платонову, который встал тоже, – она звонко и фальшиво воскликнула: – Крестосе Воскресе!

Это была ее последняя надежда вызвать взрыв горячих сладких слез, пасхальных поцелуев, приглашения разговеться вместе... Но Платонов только расправил плечи и спокойно засмеялся.

– Ну вот видите, Mademoiselle, вы прекрасно произносите по-русски...

Выйдя на улицу, она разрыдалась и шла, прижимая платок к глазам, слегка пошатываясь и постукивая по панели шелковой тростью зонтика. Небо было глубоко и тревожно: смутная луна, тучи как развалины. У освещенного кинематографа отражались в луже вывернутые ступни курчавого Чаплина. А когда Жозефина проходила под шумящими, плачущими деревьями вдоль озера, подобного стене тумана, то увидела: на краю небольшого мола жидко светится изумрудный фонарь, а в черную шляпку, что хлюпала вниз, влезает что-то большое, белое... Присмотрелась сквозь слезы: громадный старый лебедь топорщился, бил крылом и вот, неуклюжий как гусь, тяжело перевалился через борт; шляпка закачалась, зеленые круги хлынули по черной маслянистой воде, переходящей в туман.

Жозефина подумала – не пойти ли все-таки в церковь? Но так случилось, что в Петербурге она только бывала в красной кирке, в конце Морской улицы, и теперь в православный храм входить было совестно, не знала, когда креститься, как складывать пальцы, – могли сделать замечание. Прохватывал озноб. В голове путались шелесты, чмоканье деревьев, черные тучи – и воспоминанья пасхальные – горы разноцветных яиц, смуглый блеск Исакия... Туманная, оглушенная, она кое-как дотащилась до дому, поднялась по лестнице, стукаясь плечом о стену, – и потом, шатаясь, отбивая зубами дробь, стала раздеваться, ослабела, – и с блаженной, изумленной улыбкой повалилась на постель. Бред, бурный, могучий, как колокольное дыхание, овладел ею. Горы разноцветных яиц рассыпались с круглым чоканьем; не то солнце, не то баран из сливочного масла, с золотыми рогами, ввалился через окно, и стал расти, жаркой желтизной заполнил всю комнату. А яйца взбегали, скатывались по блестящим дощечкам, стукались, трескалась скорлупа, – и на белке были малиновые подтеки...

Так пробредила она всю ночь, и только утром еще обиженная м-ль Финар вошла к ней – и ахнула, всполошилась, побежала за доктором:

– Крупозное воспаление в легком, Mademoiselle.

Сквозь волны бреда мелькали: цветы обоев, серебряные волосы старушки, спокойные глаза доктора, – мелькали и расплывались, – и снова взволнованный гул счастья обдавал душу, сказочно синело небо, как гигантское крашеное яйцо, бухали колокола, и входил кто-то, похожий не то на Платонова, не то на отца Элен, – и, входя, развешивал газету, клал ее на стол, а сам садился поодаль – поглядывал то на Жозефину, то на белые листы со значительной, скромной, слегка лукавой улыбкой. И Жозефина знала, что там, в этой газете, какая-то дивная весть, но не могла, не умела разобрать черный заголовок, русские буквы, – а гость все улыбался и поглядывал значительно, и казалось, что вот-вот он откроет ей тайну, утвердит счастье, что предчувствовала она, – но медленно таял человек, наплывало беспмятство – черная туча...

И потом опять запестрели бредовые сны, катилось ландо по набережной, Элен лакала с деревянной ложки горячую яркую краску, и широко сияла Нева, и Царь Петр вдруг спрыгнул с медного коня, разом опустившего оба копыта, и подошел к Жозефине, с улыбкой на бурном, зеленом лице, обнял ее – поцеловал в одну щеку, в другую, и губы были нежные, теплые – и когда в третий раз он коснулся ее щеки, она со стоном счастья забилась, раскинула руки – и вдруг затихла.

Рано утром, на шестой день болезни, после кризиса, Жозефина Львовна очнулась. В окне светло мерцало белое небо, шел отвесный дождь, шелестел, журчал по желобам.

Мокрая ветка тянулась вдоль стекла, и лист на самом конце все вздрагивал под дождевыми ударами, нагибался, ронял с зеленого острия крупную каплю, вздрагивал опять, и опять скатывался влажный луч, свисала длинная светлая серьга, падала....

И Жозефине казалось, что дождевая прохлада течет по ее жилам, она не могла оторвать глаза от струящегося неба – и дышащий, млеющий дождь был так приятен, так уми-

лительно вздрагивал лист, что захотелось ей смеяться, – смех наполнил ее, – но еще был беззвучным, переливался по телу, щекотал небо – вот-вот вырвется сейчас...

Что-то зацарапало и вздохнуло, слева, в углу комнаты... Вся дрожь от смеха, растущего в ней, она отвела глаза от окна, повернула лицо: на полу ничком лежала старушка в черном платке, серебристые подстриженные волосы сердито тряслись, она ерзала, совала руку под шкаф, куда закатился клубок шерсти. Черная нить ползла из-под шкафа к стулу, где остались спицы и недовязанный чулок.

И увидя черную спину м-ль Финар, ерзающие ноги, сапожки на пуговицах, – Жозефина выпустила прорывающийся смех, затряслась, воркуя и задыхаясь, под пуховиком своим, чувствуя, что воскресла, что вернулась издалека, из тумана счастья, чудес, пасхального великолетия.

Впервые: "Русское эхо". 1925. № 15.

10. ВЕНЕЦИАНКА

1

Перед красным замком, среди великолепных ильмов, зеленела муравчатая площадка. Рано утром садовник прогладил ее каменным катком, истребил две-три маргаритки и, наново расчертив газон жидком мелом, крепко натянул между двух столбов новую упругую сетку. Из ближнего городка дворецкий привез картонную коробку, в которой покоилась дюжина белых как снег, матовых на ощупь, еще легких, еще девственных мячей, завернутых, каждый отдельно, как дорогие плоды, в листы прозрачной бумаги.

Было часов пять пополудни; спелый солнечный свет дремал тут и там на траве, на стволах, сочился сквозь листья и благодушно обливал ожившую площадку. Играли четверо: сам полковник – хозяин замка, госпожа Магор, хозяйский сын Франк и университетский приятель его Симпсон.

Движения человека во время игры, точно так же, как почерк его во время покоя, рассказывают о нем немало. Судя по тупым, стянутым ударам полковника, по напряженному выражению его мясистого лица – только что выплюнувшего, казалось, те седые тяжелые усы, что громоздились у него над губой; судя по тому, что ворот рубашки он, несмотря на жару, не расстегивал и подавал мяч, плотно расставив белые столбы ног, – можно было заключить, что, во-первых, он никогда хорошо не играл, а что, во-вторых, человек он степенный, старомодный, упорный, изредка подверженный шипучим вспышкам гнева: так, забив мяч в рододендроны, он выдыхал сквозь зубы краткое проклятие, или же тарасил рыбы глаза на свою ракету, словно не в силах простить ей такой оскорбительный промах.

Случайный помощник его, Симпсон, тощий, рыжеватый юноша с кроткими, но безумными глазами, бьющимися и блестящими за стеклами пенсне, как слабые голубые бабочки, старался играть как можно лучше, хотя полковник, разумеется, никогда не выражал своей досады, когда потеря очка происходила по вине партнера. Но как ни старался Симпсон, как ни прыгал, ему ничего не удавалось: он чувствовал, что расплзается по швам, что робость мешает ему метко бить и что в руке он держит – не орудие игры, тонко и вдумчиво составленное из янтарных звонких жил, натянутых на прекрасно вычисленную оправу, а неуклюжее сухое полено, от которого мяч отмигивает с болезненным треском, попадая то в сетку, то в кусты и норовя даже сшибить соломенную шляпу с круглой плешью господина Магора, стоявшего в стороне от площадки и глядевшего без особого любопытства, как побеждают вспотевших противников молодая жена его Морийн и легкий, ловкий Франк.

Если бы Магор – старый знаток живописи и реставратор, паркетатор, рантуальатор еще более старых картин, видевший мир как довольно скверный этюд, непрочными красками написанный на тленном полотне, – был бы тем любопытным и беспристрастным зрителем, которого иной раз так удобно бывает привлечь, то он мог бы заключить, конечно, что высокая, темноволосая, веселая Морийн так же беспечно живет, как играет, и что Франк вносит <и> в жизнь это умение с плавной легкостью вернуть самый трудный мяч. Но как и почерк часто обманывает хироманта своей поверхностной простотой, так и теперь игра этой белой

четы на самом деле ничего другого не открывала, как только то, что Морийн играет по-женски, без усердия, слабо и мягко, меж тем как Франк старается не слишком крепко лупить, помня, что он не на университетском состязании, а у отца в саду. Он мягко шел навстречу мячу, и длинный удар доставлял ему физическое наслаждение: всякое движение стремится к полному кругу, и хотя оно на полпути и преобразуется в правильный полет мяча, однако это незримое продолжение мгновенно ощущается в руке, пробегает по мышцам до самого плеча, – и вот именно в этой длинной внутренней искре – наслаждение удара. С бесстрастной улыбкой на бритом загорелом лице, ослепительно скаля сплошные зубы, Франк поднимался на носки и без видимого усилия двигал обнаженной по локоть рукой: в этом широком взмахе была электрическая сила, и с особенно точным и тугим звоном отскакивал мяч от ракетных струн.

Утром он вместе с приятелем приехал сюда к отцу на каникулы и нашел здесь уже знакомого ему господина Магора с женой, гостивших в замке уже больше месяца; ибо полковник, плывавший к картинам благородной страстью, охотно прощал Магору его иностранное происхождение, необщительность и отсутствие юмора за ту помощь, которую оказывал ему знаменитый живописец, за те восхитительные, бесценные полотна, которые он ему доставлял. И особенно восхитительно было последнее приобретение полковника, портрет женщины работы Лучиано, проданный Магором за очень пышную цену.

Сегодня Магор, по настоянию жены, знавшей щепетильность полковника, надел бледный летний костюм – вместо черного сюртука, который он обычно носил, – но хозяину он все-таки не угодил: рубашка на нем была крахмальная с жемчужными пуговицами, а это было, конечно, неприлично. Не особенно приличны были и красно-желтые полусапожки, отсутствие на концах панталон того кругового загиба, который мгновенно ввел в моду покойный король, принужденный однажды перейти дорогу по лужам, – и не особенно изящно выглядела старая, будто обгрызанная соломенная шляпа, из-под которой сзади выбивались седые кудри Магора. Лицо у него было несколько обезьянье, с выпученным ртом, с длинным надгубием и с целой сложной системой морщин, так что, пожалуй, по лицу его можно было погадать, как по ладони. Пока он следил за перелетами мяча, его маленькие зеленоватые глазки бегали справа налево и опять слева направо, – и останавливались, чтобы лениво перемигнуть, когда полет мяча прерывался. В солнечном блеске, на яблочной зелени удивительно прекрасна была яркая белизна трех пар фланелевых штанов и одной короткой веселой юбки, – но, как было замечено выше, господин Магор считал творца жизни лишь посредственным подражателем тех мастеров, которых он сорок лет изучал.

Тем временем Франк и Морийн, взяв пять игр подряд, собирались взять и шестую. Франк, подавая мяч, высоко подбросил его левой рукой, весь откинулся назад, словно падая навзничь, и сразу широким дугообразным движением хлынул вперед, скользнув блеснувшей ракетой по мячу, который стрельнул через сетку и со свистом, как белая молния, прыгнул мимо Симпсона, беспомощно покосившегося на него.

– Это конец, – сказал полковник.

Симпсон почувствовал глубокое облегчение. Он слишком стыдился своих неумелых ударов, чтобы быть в состоянии увлечься игрой, и этот стыд обострялся еще тем, что Морийн ему необыкновенно нравилась. Как полагается, все участники игры раскланялись, и Морийн искоса улыбнулась, поправляя ленточку на оголившемся плече. Муж ее с равнодушным лицом хлопал в ладоши.

– Мы должны с тобой вдвоем сразиться, – заметил полковник, вкусно хлопнув по спине сына, который, скаля зубы, натягивал клубный пиджак, белый в малиновую полоску, с фиолетовым гербом на боку.

– Чай! – сказала Морийн. – Я жажду чаю...

Все двинулись в тень гигантского ильма, где дворецкий и черно-белая горничная поставили легкий столик. Был темный, как мексиканское пиво, чай, сэндвичи, составленные из огуречных слоев и прямоугольников хлебного мякиша, смуглый пирог в черной оспе изюма, крупная виктория со сливками. Было также несколько каменных бутылок имбирной шипучки.

– В мое время, – заговорил полковник, с грузным наслаждением опускаясь в складное суконное кресло, – мы предпочитали настоящий, полнокровный английский спорт – регби,

крикет, охоту. Есть что-то иностранное в современных играх. Я стойкий сторонник мужественных схваток, сочного мяса, вечерней бутылки портвейна, – что не мешает мне, – закончил полковник, приглаживая щеточкой крупные свои усы, – любить старинные плотные картины, в которых есть отблеск того же доброго вина.

– Кстати, полковник, Венецианка повешена, – скучным голосом сказал Магор, положив подле стула на газон свою шляпу и потирая ладонью голое, как колено, темя, вокруг которого еще густо вились грязные серые кудри. – Я выбрал самое светлое место в галерее. Лампочку над ней приладили. Мне хотелось бы, чтобы вы взглянули.

Полковник блестящими глазами уставился поочередно на сына, на смутившегося Симпсона, на Морийн, которая смеялась и морщилась от горячего чая.

– Мой дорогой Симпсон, – крепко воскликнул он, обрушиваясь на выбранную жертву, – вот вы еще не видели! Простите, что оторву вас от сэндвича, мой друг, но я обязан показать вам мою новую картину. Знатоки от нее с ума сходят. Пойдемте. Разумеется, Франку я не смею предложить...

Франк весело поклонился:

– Ты прав, отец. Меня мутит от живописи.

– Мы сейчас вернемся, госпожа Магор, – сказал полковник, вставая. – Осторожно, наступите на бутылку, – обратился он к Симпсону, который встал тоже. – Приготовьтесь к душе красоты.

Они втроем направились к дому через мягко озаренный газон. Франк, прищурившись, посмотрел им вслед, взглянул вниз на соломенную шляпку Магора, оставленную им на мураве, подле стула (она показывала Богу, синему небу, солнцу свое белесое дно с темным сальным пятном посередине, на штемпеле венского шляпника), и потом, повернувшись к Морийн, произнес несколько слов, которые, верно, удивят недогадливого читателя. Морийн сидела в низком кресле, вся в дрожащих колечках солнца, прижимая ко лбу золотистый переплет ракеты, и лицо ее стало старше и строже, когда Франк сказал:

– Ну что ж, Морийн? Теперь нам нужно решить...

2

Магор и полковник, как два стражника, ввели Симпсона в просторную и прохладную залу, где по стенам лоснились картины и где мебели не было, если не считать овального стола из блестящего черного дерева, который стоял посередине и всеми четырьмя ногами отражался в зеркальной ореховой желтизне паркета. Подведя пленника к большому полотну в тусклой золоченой раме, полковник и Магор остановились, первый – заложив руки в карманы, второй – задумчиво выковыривая из ноздри сухую серую пыльцу и рассыпая ее мелким вращательным движением пальцев.

А картина была действительно очень хороша. Лучиано изобразил венецианскую красавицу, стоящую вполоборота на теплом черном фоне. Розоватая ткань открывала смуглую сильную шею с необыкновенно нежными складками под ухом, и с левого плеча сползал серый рысий мех, которым была оторочена вишневого цвета накидка. Правой рукой, продолговатыми пальцами, по два раздвинутыми, она, казалось, только что собралась поправить спадающий мех, но застыла, пристально и томно глядя с полотна карими, сплошь темными глазами. Левая рука в белой зыби батиста вокруг запястья держала корзинку с желтыми плодами; накладка тонким венцом светилась на темно-каштановых волосах. И слева от нее черный тон прерывался большим прямоугольным провалом прямо в сумеречный воздух, в синевато-зеленую бездну облачного вечера.

Но не подробности изумительных теневых сочетаний, не темная теплота всей картины поразили Симпсона. Было нечто другое. Слегка нагнув голову набок и мгновенно покраснев, он проговорил:

– Господи, как она похожа...

–...на мою жену, – скучным голосом закончил Магор, рассыпая сухую пыльцу.

– Необыкновенно хорошо, – прошептал Симпсон, наклонив голову на другой бок, – необыкновенно...

– Себастиано Лучиано, – сказал полковник, самодовольно прищурившись, – родился в конце пятнадцатого века в Венеции и умер в середине шестнадцатого в Риме. Учителями его были Беллини и Джорджоне, соперниками – Микель Анджело и Рафаэль. Он, как видите, соединил в себе силу первого и нежность второго. Санти, впрочем, он недолюбливал – и дело тут было не в одном тщеславии: легенда гласит, что наш художник был равнодушен к римлянке Маргарите, прозванной впоследствии Форнарина. За пятнадцать лет до своей смерти он произнес обет монашества по случаю получения от Климента VII легкой и доходной должности. С тех пор именуется он Фра Бастиано дель Пьомбо. “Il Piombo” значит “свинец”, ибо должность его состояла в том, что он прикладывал огромные свинцовые печати к пламенным папским буллам. Монахом он был распутным, со вкусом бражничал и писал посредственные сонеты. Но какой мастер!..

И полковник мельком взглянул на Симпсона, с удовольствием отмечая, какое впечатление произвела картина на его тихого гостя.

Но снова нужно подчеркнуть: Симпсон, не привыкший к созерцанию живописи, не мог, конечно, оценить мастерство Себастиано дель Пьомбо, и единственное, что очаровало его, независимо, конечно, от чисто физиологического действия чудесных красок на глазные нервы, – было сходство, им сразу подмеченное, хотя Морийн он видел нынче в первый раз. И замечательно, что лицо Венецианки, с ее гладким лбом, словно облитым тайным отблеском некой оливковой луны, с ее сплошь темными глазами и спокойным выжидательным выражением мягко сложенных губ, – объяснило ему истинную красоту той Морийн, которая все смеялась и щурилась и играла глазами – в постоянной борьбе с солнцем, яркими пятнами скользившим по ее белому платью, когда, раздвигая ракетой шумящие листья, она отыскивала закатившийся мяч.

Пользуясь свободой, которую в Англии хозяин предоставляет своим гостям, Симпсон не вернулся к чайному столику, а пошел, огибая звездистые цветники, через сад – и вскоре заблудился в шашечных тенях парковой аллеи, где пахло папоротником и листовым гномом. Громадные деревья были такие старые, что их ветви пришлось подхватить ржавыми скрепами, и мощно горбились они, словно дряхлые гиганты на железных костылях.

– Ах, какая удивительная картина, – опять прошептал Симпсон. Он шел, тихо помахивая ракетой, сутулясь и пошлепывая резиновыми подошвами. Его следует отчетливо представить себе – тощего, рыжеватого, в мятых белых штанах, в мешковатом сером пиджаке с хлястиком – а так-же хорошо отметить легкое без ободков пенсне на рябой пуговке носа, и слабые, слегка безумные глаза, и веснушки на круглом лбу, на маслаках, на красной от летнего загара шее.

Он учился в университете второй год, жил скромно, прилежно слушал лекции по богословию. Подружился он с Франком не только потому, что судьба поселила их в одну квартиру, состоящую из двух спален и одной общей гостиной, – но главным образом потому, что, как большинство слабовольных, застенчивых, втайне восторженных людей, он невольно льнул к человеку, в котором все было ярко, крепко – и зубы, и мышцы, и физическая сила души – воля. А со своей стороны Франк, эта гордость колледжа, – он греб на гонках, и летал через поле с кожаным арбузом под мышкой, и умел нанести кулаком удар в самый кончик подбородка, где есть такая же музыкальная косточка, как в локте, удар, усыпительно действующий на противника, – этот необыкновенный, всеми любимый Франк находил что-то очень льстившее его самолюбие в дружбе с неловким, слабым Симпсоном. Симпсону было, между прочим, известно то странное, что Франк скрывал от прочих приятелей, знавших его только как прекрасного спортсмена и веселого малого и вовсе не обращавших внимания на мимолетные слухи о том, что Франк исключительно хорошо рисует, но рисунков своих не показывает никому. Он никогда не говорил об искусстве, охотно пел и пил, и бесчинствовал, но порою нападал на него внезапный сумрак; тогда он не выходил из своей комнаты, никого не впускал, – и только сожитель его, смирный Симпсон, видел, чем занят он. То, что Франк создавал за эти два-три дня злобного уединения, он либо прятал, либо уничтожал, а потом, словно отдав мучительную дань пороку, снова был весел и прост. Только раз он об этом заговорил с Симпсоном.

– Понимаешь, – сказал он, морща чистый лоб и крепко выбивая трубку, – я считаю, что в искусстве – особенно в живописи – есть что-то женственное, болезненное, недостойное

сильного человека. Я стараюсь бороться с этим бесом, оттого что знаю, как он губит людей. В случае, если я всецело ему поддамся, меня ожидает не покойная и размеренная жизнь с ограниченным количеством горя, с ограниченным количеством наслаждения, с точными правилами, без которых всякая игра теряет свою прелесть, – а сплошная сумятица, буря, Бог знает что. Я буду до гроба мучиться, я стану подобен тем несчастным, которых я встречал в Чельси, тем длинноволосым, самолюбивым дуракам в бархатных куртках – издерганным, слабым, любящим одну только свою липкую палитру...

Но бес, по-видимому, был очень силен. По окончании зимнего семестра Франк, ничего не сказав отцу – и этим глубоко его обидев, – укатил третьим классом в Италию и через месяц вернулся прямо в университет, загорелый, радостный, точно отделавшись навсегда от сумрачной лихорадки творчества.

Потом, когда наступили летние каникулы, он предложил Симпсону погостить в отцовском имении, и Симпсон, благодарно вспыхнув, согласился, ибо он с ужасом думал об очередном возвращении домой в тихий северный городок, где ежемесячно случалось какое-нибудь потрясающее преступление, к отцу-священнику, мягкому, безобидному, но совершенно сумасшедшему человеку, занятому больше игрой на арфе и комнатной метафизикой, нежели своей паствой.

Созерцание красоты – будь то особенным образом расцвеченный закат, светящееся лицо или произведение искусства – заставляет нас бессознательно оглянуться на собственное наше прошлое, сопоставить себя, свою душу с недостижимой совершенной красотой, открывшейся нам. Оттого-то и Симпсон, перед которым только что встала в батисте и бархате давно умершая венецианка, теперь вспоминал, тихо идя по липовой земле аллеи – бесшумной в этот предвечерний час, – вспоминал и дружбу свою с Франком, и арфу отца, и свою безрадостную стесненную юность. Звучная лесная тишина дополнялась порой треском неведомо кем тронутой ветки. Рыжая белка скользнула вниз по стволу, побежала к стволу соседнему, подняв пушистый хвост, и опять кинулась вверх. В мягком потоке солнца между двух рукавов листвы золотой пылью кружилась мошкара, и сдержанно, уже по-вечернему жужжал шмель, запутавшийся в тяжелых кружевах папоротника.

Симпсон сел на скамью, измызганную мазками белил – засохшим птичьим пометом, – и сгорбился, упираясь острыми локтями в колени. Он почувствовал приступ особой слуховой галлюцинации, которой он с детства был подвержен. Находясь в поле или, как сейчас, в тихом, уже вечерющем лесу, он невольно принимался думать о том, что в этой тишине он может, пожалуй, слышать, как весь громадный мир сладко свищет через пространство, как шумят далекие города, как бухают волны моря, как телеграфные провода поют над пустынями. И постепенно его слух, ведомый его мыслью, начинал и вправду различать эти звуки. Он слышал пыхтение поезда, – хотя полотно отстояло, быть может, на десятки миль, – затем грохот и лязг колес и – по мере того как тайный слух его все обострялся – голоса пассажиров, смех и кашель и шелест газет в их руках, и, наконец, до самого дна углубившись в свой звуковой мираж, отчетливо различал бой их сердец, и этот бой, этот гул, этот грохот, катясь и возрастая, оглушал Симпсона; вздрогнув, он открывал глаза и понимал, что это бьется так громко его же сердце.

– Лугано, Комо, Венеция... – пробормотал он, сидя на скамье под бесшумным орешником, – и тотчас же услышал тихий плеск солнечных городов, а потом – уже ближе – позвякивание бубенцов, свист голубиных крыл, высокий смех, похожий на смех Морийн, и шарканье, шарканье невидимых прохожих. Ему хотелось удержать на этом слух, – но слух его, как поток, бежал все глубже, – еще миг, и – уже не в силах остановиться в своем странном падении – он слышал не только шаги прохожих, но стук их сердец, – миллионы сердец вздувались и гремели, и, очнувшись, Симпсон понял, что все звуки, все сердца сосредоточены в сумасшедшем биении его собственного сердца.

Он поднял голову. Легкий ветер, как движение шелкового шлейфа, прошел по аллее. Мягко желтели лучи.

Он встал, слабо улыбнулся и, забыв на скамье ракету, направился к дому. Пора было переодеваться к обеду.

3

– Однако жарко мне от этого меха! Нет, полковник, это просто кошка. Соперница моя, Венецианка, носила, верно, кое-что подороже. Но цвет тот же, не правда ли? Полное впечатление, одним словом.

– Если бы я посмел, я покрыл бы вас лаком, а полотно Лучиано отправил бы на чердак, – любезно подхватил полковник, который был не прочь, несмотря на строгость своих правил, вызвать на ласковый словесный бой такую привлекательную женщину, как Морийн.

– Я бы треснула, – возразила она, – от смеха...

– Боюсь, госпожа Магор, что мы для вас составляем ужасно неудачный фон, – сказал Франк с широкой мальчишеской улыбкой. – Мы грубые, самодовольные анахронизмы. Вот если бы ваш муж надел бы панцирь...

– Глупости, – сухо усмехнулся Магор. – Впечатление старинного вызвать так же легко, как впечатление красок путем нажатия на верхнее веко. Я позволяю иногда себе роскошь вообразить современный мир, наши машины, наши моды такими, какими они будут казаться потомкам нашим через четыреста-пятьсот лет, – уверяю вас, я чувствую себя тогда старинным, как монах времен Возрождения.

– Еще вина, мой дорогой Симпсон, – предложил полковник.

Робкий, тихий Симпсон, сидевший между Магором и его женой, слишком рано, при втором блюде, пустил в ход большую вилку вместо маленькой, так что для жаркого остались маленькая вилка и большой ножик, и теперь, двигая ими, он как бы хромал на одну руку. Когда во второй раз обносили жаркое, он из нервозности взял еще – и тогда заметил, что он ест один и что все с нетерпением ждут, когда он кончит. Он так растерялся, что отодвинул полную еще тарелку и чуть не опрокинул стакан и стал медленно краснеть. Вспыхивал он во время обеда уже несколько раз, и не потому, что было действительно что-нибудь стыдное, а потому, что он думал, что может беспричинно покраснеть, и тогда щеки его, лоб, даже шея постепенно наливались розовой кровью – и слепую, мучительно жаркую краску так же невозможно было остановить, как удержать за тучей выплывающее из-за нее солнце. При первом таком приступе он нарочно уронил салфетку, но когда поднял голову опять, то страшно было на него смотреть: вот-вот воротнички займутся. В другой раз он попытался пресечь наступление молчаливой горячей волны тем, что обратился к Морийн с вопросом – нравится ли ей играть в лаун-теннис, но, к несчастью, Морийн не расслышала, переспросила, и, повторяя свою глупую фразу, Симпсон мгновенно покраснел до слез, и Морийн из чувства милосердия отвернулась, заговорила о другом.

То, что он сидит рядом с ней, ощущает теплоту ее щеки, ее плеча, с которого, как на картине, соскальзывает серый мех, и то, что мех этот она собралась было удержать, но при вопросе Симпсона остановилась, вытянув и сложив по два длинные тонкие пальцы, – так томило его, что в глазах стоял влажный блеск от хрустального огня стаканов, и ему все казалось, что круглый стол, освещенный остров, медленно вращается и, вращаясь, плывет куда-то, тихо увлекая сидящих вокруг него. Между стеклянных половин раскинутых дверей виднелись в глубине черные кегли балконной балюстрады, и душно веял синий воздух ночи. Этот воздух сквозь ноздри вдыхала Морийн, мягкие, сплошь темные глаза ее скользили от одного к другому и не улыбались, когда улыбка чуть приподнимала уголок ее нежных, ненакрашенных губ. Ее лицо оставалось в смугловатой тени, и только лоб был облит гладким светом. Она говорила пустые, смешные вещи – и все смеялись, и полковник приятно багровел от вина. Магор, чистивший яблоко, обхватил его, как обезьяна, ладонью, и маленькое его лицо в венце серых кудрей морщилось от усилий, и серебряный ножик, крепко зажатый в волосатом темном кулаке, снимал бесконечные спирали румяной и желтой кожи. Лицо же Франка Симпсон видеть не мог, так как между ними стоял букет огненных мясистых георгин в блестящей вазе.

После обеда, окончившегося портвейном и кофеем, полковник, Морийн и Франк сели играть в бридж – с подставным, ибо двое остальных играть не умели.

Старый реставратор вышел, врозь расставляя колени, на темный балкон, и Симпсон последовал за ним, чувствуя за своей спиной отступающую теплоту Морийн.

Магор опустился в соломенное кресло у балюстрады, крякнул и предложил Симпсону сигару. Симпсон уселся боком на перила и неловко закурил, щурясь и раздувая щеки.

– Венецианка этого старого распутника дель Пьомбо вам, стало быть, понравилась, – сказал Магор, выпуская в темноту розовый клуб дыма.

– Очень, – ответил Симпсон и добавил: – Я, конечно, ничего не смыслю в картинах...

– Но все же понравилась, – закивал Магор. – Превосходно. Это первый шаг к пониманию. Вот я, например, всю жизнь посвятил этому.

– Она – как живая, – задумчиво сказал Симпсон. – Можно поверить в таинственные рассказы об оживающих портретах. Я читал где-то, что какой-то король сошел с полотна и как только...

Магор рассыпался тихим трескучим смехом.

– Это, конечно, пустяки. Но вот бывает другое, – обратное, так сказать.

Симпсон взглянул на него. В темноте ночи белесым горбом коробился крахмальный перед его рубашки, и рубиновый шишковатый огонь сигары освещал снизу его маленькое морщинистое лицо. Он много выпил вина и был, видимо, в настроении говорить.

– Бывает вот что, – продолжал он неторопливо, – представьте себе, что вместо того, чтобы вызвать написанную фигуру из рамы, человеку удалось бы – самому вступить в картину. Вам смешно, не правда ли? Однако я проделал это не раз. Мне выпало на долю счастье осмотреть все картинные галереи в Европе – от Гааги до Петербурга и от Лондона до Мадрида. Когда мне картина особенно нравилась, я становился прямо перед ней и сосредоточивал всю свою волю на одной мысли: вступить в нее. Мне, конечно, было жутко. Я чувствовал себя как апостол, собирающийся сойти из барки на водную поверхность. Но зато какое потом блаженство! Предо мной было, положим, полотно фламандской школы, со святым семейством на переднем плане, с чистым гладким ландшафтом на заднем. Дорога, знаете, белой змеей, и зеленые холмы. И вот наконец я решился. Я вырывался из жизни и вступал в картину. Чудесное ощущение! Прохлада, тихий воздух, пропитанный воском, ладаном. Я становился живой частью картины, и все оживало кругом. Двигались силуэты пилигримов по дороге. Дева Мария что-то тихо лопотала по-фламандски. Ветерок колебал условные цветы. Плыли тучи... Но наслаждение длилось недолго; я начинал чувствовать, что мягко стыну, влипаю в полотно, заплываю масляной краской. Тогда я жмурился и, со всех сил дернувшись, выпрыгивал: был нежный хлопающий звук, как когда вытаскиваешь ногу из глины. Я открывал глаза – я лежал на полу, под прекрасной, но мертвой картиной...

Симпсон внимательно и смущенно слушал. Когда Магор остановился, он едва заметно вздрогнул и огляделся. Все было по-прежнему. Сад внизу дышал темнотой, сквозь стеклянную дверь видать было полуосвещенную столовую, а в глубине, сквозь другую открытую дверь, яркий уголок гостиной и три фигуры, играющие в карты. Какие странные вещи говорил Магор!..

– Понимаете, – продолжал он, стряхивая слоистый пепел, – еще бы мгновение, и картина засосала бы меня навсегда. Я ушел бы в ее глубину, жил бы в ее пейзаже, а не то, ослабев от ужаса и не в силах ни вернуться в мир, ни углубиться в новую область, застыл бы написанным на полотне, в виде того анахронизма, о котором говорил Франк. Но, несмотря на опасность, я вновь и вновь поддавался соблазну... А, мой друг, я влюблен в Мадонн! Помню первое мое увлечение – Мадонну в голубой короне, нежного Рафаэля... За ней, в отдалении, у колонн стоят двое и мирно беседуют. Я подслушал их разговор. Они говорили о стоимости какого-то кинжала... Но самая прелестная из всех Мадонн принадлежит кисти Бернардо Луини. Во всех его творениях есть тишина и нежность озера, на берегу которого он родился, – Лаго Маджиоре. Нежнейший мастер... Из имени его даже создали новое прилагательное – “luinesco”. У лучшей его Мадонны длинные, ласково опущенные глаза; ее одежда в голубовато-алых, в туманно-оранжевых оттенках. Вокруг чела легкий газ, волнистая дымка, и такую же дымкой обвит ее рыжеватый младенец. Он поднимает к ней бледное яблоко, она смотрит на него, опустив нежные, продолговатые очи... Луиниевские очи... Боже мой, как я целовал их...

Магор замолк, и мечтательная улыбка тронула его тонкие губы, освещенные огнем сигары. Симпсон затаил дыхание, и ему казалось, как давеча, что он медленно плывет в ночь.

– Бывали неприятности, – продолжал Магор, кашлянув. – У меня разболелись почки после чаши крепкого сидра, которым меня однажды угостила дебелая вакханка Рубенса, а на желтом туманном катке одного из голландцев я так простудился, что целый месяц кашлял и харкал мокротой. Вот что бывает, господин Симпсон.

Магор скрипнул креслом, встал, оправляя жилет.

– Заговорился я, – сухо заметил он. – Пора спать. Они Бог знает как долго еще будут хлопать картами. Я пойду; спокойной ночи...

Он прошел через столовую в гостиную и, кивнув на ходу играющим, скрылся в отдаленных тенях. Симпсон остался один на своей балюстраде. В ушах у него звенел тонкий голос Магора. Великолепная звездная ночь подступала к самому балкону, неподвижны были бархатные громады черных деревьев. Сквозь двери за полосой темноты он видел розовую лампу в гостиной, стол, нарумяненные светом лица играющих. Вот полковник встал. Встал и Франк. Издали, словно в телефон, донесся голос полковника:

– Я старый человек, я ложусь рано. Спокойной ночи, госпожа Магор...

И смеющийся голос Морийн:

– Я тоже сейчас пойду. А то муж будет сердиться...

Симпсон слышал, как в глубине закрылась дверь за полковником, – и тогда случилась невероятная вещь. Из темноты своей он видел, как Морийн и Франк, оставшиеся одни – там, далеко, в провале мягкого света, – скользнули друг к другу, как Морийн откинула голову и откидывала ее все ниже назад под сильным и долгим поцелуем Франка. Потом, подхватив упавший мех и взъерошив Франку волосы, она скрылась в глубину, мягко хлопнув дверью. Франк, улыбаясь, пригладил волосы, засунул руки в карманы и, посвистывая тихо, пошел через столовую к балкону. Симпсон был до того потрясен, что застыл, вцепившись пальцами в перила, и с ужасом глядел, как близится сквозь стеклянный блеск белый вырез, черное плечо. Франк, выйдя на балкон и увидя в темноте фигуру приятеля, чуть вздрогнул и закусил губы.

Симпсон неловко сполз с перил. Ноги у него дрожали. Он сделал героическое усилие:

– Чудесная ночь. Мы тут с Магором болтали.

Франк спокойно сказал:

– Он много врет – Магор. Впрочем, когда он разоидется, то послушать его не мешает.

– Да, очень любопытно... – слабо поддержал Симпсон.

– Это Большая Медведица, – сказал Франк и зевнул, не открывая рта. Потом добавил ровным голосом: – Я, конечно, знаю, что ты совершенный джентльмен, Симпсон.

4

Утром забусил, замерцал, протянулся бледными нитями по темному фону лиственных глубин мелкий и теплый дождь. К утреннему завтраку явились только трое – сперва полковник и вялый, бледный Симпсон, затем Франк – свежий, чистый, до лоску выбритый, с простодушной улыбкой на слишком тонких губах.

Полковник был сильно не в духе: накануне, во время бриджа, он кое-что заметил, а именно: быстро нагнувшись под стол за упавшей картой, он заметил, что Франк прижался коленом к колену Морийн. Это нужно было прекратить немедленно. Полковник уже некоторое время догадывался, что есть что-то неладное. Недаром Франк рванулся в Рим, где всегда весной бывали Магоры. Пускай сын его делает что хочет – но здесь, в доме, в родовом замке, допустить... нет, надо принять тотчас же самые резкие меры.

Неудовольствие полковника губительно влияло на Симпсона. Ему казалось, что хозяин тяготится его присутствием, и он не знал, о чем говорить. Только Франк был, как всегда, спокойно весел, блестел зубами, вкусно грыз горячие гренки, смазанные апельсиновым вареньем.

Когда допили кофе, полковник закурил трубку и встал.

– Ты хотел посмотреть новую машину, Франк? Пойдем в гараж. При этом дожде все равно ничего нельзя делать...

Потом, почувствовав, что бедный Симпсон нравственно повис в воздухе, полковник

добавил:

– Тут у меня несколько хороших книг, мой дорогой Симпсон. Если вам угодно...

Симпсон встрепнулся и стащил с полки какой-то большой красный том: он оказался “Ветеринарным вестником” за 1895 год.

– Мне нужно два слова тебе сказать, – начал полковник, когда он и Франк, напялив хрустящие макинтоши, вышли в туман дождя.

Франк быстро взглянул на отца.

“Как бы это сказать”, – подумал полковник, пыхтя трубкой.

– Слушай, Франк, – решился он, и мокрый гравий сочнее зашуршал под его подошвами. – Мне стало известно, все равно как, – или, проще говоря, я заметил, – э, к черту! Вот что, Франк, какие у тебя отношения с женой Магора?

Франк тихо и холодно ответил:

– Я предпочел бы с тобой об этом не говорить, отец. – Про себя же злобно подумал: “Однако, – скотина какая – донес!”

– Я, разумеется, не могу требовать, – начал полковник и осекся. В теннисе, при первом неудачном ударе, он еще умел сдерживаться.

– Хорошо бы починить этот мостик, – заметил Франк, стукнув каблуком по гнилой балке.

– К черту мост! – сказал полковник. Это был второй промах, и на лбу у него надулась гневная ижица жил.

Шофер, гремевший ведрами у ворот гаража, увидя хозяина, стянул свой клетчатый картуз. Это был маленький плотный человек с подстриженными желтыми усиками.

– Доброе утро, сэр, – мягко сказал он и плечом отодвинул крыло ворот. В полутьме, откуда пахло бензином и кожей, поблескивал громадный черный, совершенно новый “роллс-ройс”.

– А теперь пройдемся по парку, – глухо сказал полковник, когда Франк вдоволь осмотрел цилиндры, рычаги.

В парке первое, что случилось, было то, что крупная холодная капля упала с ветки полковнику за воротник. Эта капля, собственно говоря, и переполнила чашу. Он пожевал губами, как бы примериваясь к словам, и вдруг грянул:

– Предупреждаю тебя, Франк, никаких приключений в духе французских романов я у себя в доме не допущу. К тому же Магор – мой друг, – понимаешь ты это или нет?

Франк поднял со скамьи ракету, забытую накануне Симпсоном. От сырости она превратилась в восьмерку. “Подлая”, – с отвращением подумал Франк. Грузным грохотом пронеслись слова отца.

– Не потерплю, – говорил он. – Если не можешь вести себя прилично, так уезжай. Я тобой недоволен, Франк, я тобою страшно недоволен. В тебе есть что-то, чего я не понимаю. В университете ты учишься дурно. В Италии ты делал Бог знает что. Говорят, ты занимаешься живописью. Вероятно, я не достоин того, чтобы ты показывал мне свою мазню. Да, мазня. Я представляю себе... Гений, подумаешь. Ведь ты, наверное, считаешь себя гением, – или еще лучше – футуристом! А тут еще эти романы... Одним словом, если...

И тут полковник заметил, что Франк тихо и беспечно посвистывает сквозь зубы. Он остановился и выпучил глаза.

Франк швырнул, как бумеранг, исковерканную ракету в кусты, улыбнулся и сказал:

– Это все пустяки, отец. В одной книге, где описывалась афганистанская война, я читал о том, что ты тогда сделал и за что получил крест. Это было совершенно глупо, сумасбродно, самоубийственно – но это был подвиг. Вот это главное. А твои рассуждения – пустяки. Добрый день.

И полковник остался один стоять посреди аллеи, оцепенев от изумления и гнева.

5

Отличительная черта всего сущего – однообразие. Мы принимаем пищу в определенные часы, потому что планеты, подобно никогда не опаздывающим поездам, отходят и

прибывают в определенные сроки. Без такого строго установленного расписания времени средний человек не может себе представить жизнь. Зато игривый и кощунственный ум найдет немало занятного в соображениях о том, как жилось бы людям, если бы день продолжался нынче десять часов, завтра – восемьдесят пять, а послезавтра – несколько минут. Можно сказать a priori³, что в Англии такая неизвестность относительно точной продолжительности грядущего дня привела бы прежде всего к необычайному развитию пари и всяких других азартных соглашений. Человек терял бы все свое состояние благодаря тому, что день длился на несколько часов дольше, чем он предполагал накануне. Планеты стали бы подобны скаковым лошадям – и сколько волнений возбуждал бы какой-нибудь гнедой Марс, берущий последний небесный барьер. Астрономы оказались бы в положении букмекеров, бог Аполлон изображался бы в огненном жокейском картузе – и мир весело сошел бы с ума.

Но, к сожалению, дело обстоит иначе. Точность всегда угрюма, и наши календари, где жизнь мира вычислена наперед, напоминают программу экзамена, от которого не увернешься. Конечно, в этой системе космического Тейлора есть нечто успокоительное и бездумное. Зато как прекрасно, как лучезарно порой прерывается мировое однообразие книгой гения, кометой, преступлением или даже просто одной ночью без сна. Но законы наши, пульс, пищеварение крепко связаны со стройным движением звезд, и всякая попытка нарушить равномерность карается – в худшем случае отсечением головы, в лучшем – головной болью. Впрочем, мир был создан несомненно с добрыми намерениями, и никто не виноват в том, что в нем иногда бывает скучно и что музыка сфер напоминает иным бесконечные повторения шарманки.

Однообразие это особенно остро ощущал Симпсон. Он чувствовал что-то страшное в том, что и сегодня второй завтрак последует за первым, обед – за чаем, с ненарушимой правильностью. Когда он подумал о том, что так будет продолжаться всю жизнь, ему захотелось кричать, биться, как бьется человек, проснувшийся в гробу. За окном все мерцала морось, – и оттого, что приходилось сидеть дома, в ушах жужжало, как когда бывает жар. Магор весь день просидел в мастерской, устроенной для него в башне замка. Он работал над восстановлением лакировки небольшой темной картины, писанной на дереве. В мастерской пахло клеєм, терпентином, чесноком, которым очищают картину от соляных пятен; на маленьком верстаке, подле пресса, блестели колбы – соляная кислота, винный спирт, – валялись куски фланели, ноздреватые губки, разнообразные гратуары. Магор был в старом халате, в очках, без воротничков, запонка величиной чуть ли не в дверную кнопку торчала под самым кадыком, шея была тонкая, серая, в старческих пупырьках, и черная мурмолка покрывала плешь. Он рассыпал, знакомым уже читателю, мелким вращательным движением пальцев щепотку истолченной смолы, осторожно втирал ее в картину, и старый пожелтевший лак, царапаемый частичками порошка, сам превращался в сухую пыль.

Остальные обитатели замка сидели в гостиной, полковник сердито развернул исполтинскую газету, вслух читал, медленно успокаиваясь, чью-то очень консервативную статью. Потом Морийн и Франк затеяли игру в пинг-понг: целлулоидный мячик со звонким грустным треском перелетал через зеленую сетку, натянутую поперек длинного стола, – и Франк, конечно, играл превосходно, двигая одной кистью, легко поворачивая слева направо тонкую деревянную лопатку.

Симпсон прошел по всем комнатам, кусая губы и поправляя пенсне. Так вошел он в галерею. Бледный как смерть, тщательно прикрыв за собой тяжелую тихую дверь, он на носках подошел к Венецианке Фра Бастиано дель Пьомбо. Она встретила его знакомым матовым взглядом, и длинные пальцы ее замерли на пути к меховой оборке, к вишневым спадающим складкам. На него пахло медовой темнотой – и он глянул в глубь окна, прерывавшего черный фон. Там по зеленоватой синеве тянулись песочного цвета тучи, к ним поднимались ломаные темные скалы, меж которых вилась бледная тропа, а пониже были смутные деревянные лачуги – и Симпсону почудилось, что на мгновение зажглась в одной из них точка огня. И пока он смотрел в это воздушное окно, он почувствовал, что Венецианка улыбается, но, быстро взглянув на нее, не успел поймать улыбки: только слегка был

³ Заранее, наперед (лат.).

приподнят правый теневой уголок мягко сложенных губ. И тогда что-то в нем сладко обрвалось, и он весь отдался теплему очарованию картины. Нужно помнить, что был он человек болезненно-восторженного нрава, что жизни он не знал совершенно и что впечатлительность заменяла в нем ум. Холодная дрожь, как быстрая сухая ладонь, скользнула по его спине – и тотчас же он понял, что должен он сделать. Но, быстро оглянувшись и увидев блеск паркета, стол, слепой белый лоск картин там, где падал на них дождливый свет, льющийся в окно, – он почувствовал стыд и страх. И хотя прежнее очарование мгновенно нахлынуло на него опять, он уже знал, что едва ли может выполнить то, что за минуту до этого он без мысли совершил бы.

Впившись глазами в лицо Венецианки, он попятился от нее и вдруг широко раскинул руки. Копчиком он больно стукнулся обо что-то; обернувшись, увидел сзади себя черный стол. Стараясь ни о чем не думать, он влез на него – и встал во весь рост против Венецианки – и снова, взмахнув руками, приготовился к ней полететь.

– Удивительный способ любоваться картиной. Сам изобрел?

Это был Франк. Он стоял, расставя ноги, в дверях и с холодной усмешкой глядел на Симпсона.

Симпсон дико блеснул на него стеклами пенсне и неловко пошатнулся, как встревоженный лунатик. Потом сгорбился, жарко покраснел и неуклюжими движениями сошел на пол.

Франк поморщился от острого отвращения и молча вышел из зала. Симпсон кинулся за ним:

– Ах, пожалуйста, прошу тебя, не рассказывай... – Франк на ходу, не оглядываясь, брезгливо пожал плечами.

6

К вечеру дождь неожиданно перестал. Кто-то спохватился и завинтил краны. Влажный оранжевый закат задрожал между ветками, расширился, отразился во всех лужах сразу. Из башни был силой извлечен маленький кислый Магор. От него пахло скипидаром и горячим утюгом, он обжег себе руку. Нехотя напялил он черное пальто, поднял воротник и вышел с другими пройти. Один Симпсон остался дома – под тем предлогом, что ему нужно непременно ответить на письмо, пришедшее с вечерней почтой. На самом же деле отвечать на письмо было незачем, так как было оно от университетского молочника, просившего немедленно заплатить по счету два шиллинга и девять пенсов.

Симпсон долго сидел в наплывающих сумерках, без мысли откинувшись на спинку кожаного кресла, – потом вздрогнул, чувствуя, что засыпает, и стал думать о том, как поскорее выбраться из замка. Проще всего было сказать, что заболел отец: как многие застенчивые люди, Симпсон умел лгать, не моргая. Но уехать было трудно. Что-то темное и сладкое удерживало его. Как хорошо темнели скалы в провале окна... Как хорошо было бы обнять ее за плечо, взять из левой руки ее корзину с желтыми плодами, тихо пойти с ней вместе по той бледной тропе во мглу венецианского вечера...

Он опять спохватился, что засыпает. Встал, вымыл руки. Снизу донесся круглый, сдержанный обеденный гонг.

От созвездия к созвездию, от обеда к обеду так движется мир, так движется и этот рассказ. Но его однообразие теперь прервется невероятным чудом, неслыханным приключением. Ни Магор, опять тщательно освободивший граненую наготу яблока от блестящих румяных лент, – ни полковник, снова приятно побагровевший после четырех рюмок портвейна – не считая двух стаканов белого бургонского, – не могли, конечно, знать, какие неприятности принесет им завтрашний день. После обеда был неизменный бридж, и полковник с удовольствием заметил, что Франк и Морийн даже не глядят друг на друга. Магор пошел работать, а Симпсон сел в угол, раскрыв папку с литографиями, и только два-три раза взглянул из своего угла на играющих, мельком удивившись тому, что Франк с ним так холоден, а что Морийн как бы поблекла, уступила место другой... Эти мысли были такие ничтожные по сравнению с тем дивным ожиданием, с тем огромным волнением, которое он

теперь старался обмануть разглядыванием неясных гравюр.

И когда расходились и Морийн с улыбкой кивнула ему, пожелала спокойной ночи, – он рассеянно, без смущения, улыбнулся ей в ответ.

7

В эту ночь, во втором часу, старый сторож, служивший некогда в грумах у отца полковника, совершал, как всегда, небольшую прогулку по аллеям парка. Он отлично знал, что должность его – пустая условность, так как местность была исключительно тихая. Ложился он спать неизменно в восемь часов вечера, в час трещал будильник – и тогда сторож, громадный старик с седыми почтенными баками, за которые, между прочим, любили таскать его дети садовника, – легко просыпался и, закутив трубку, вылезал в ночь. Обойдя разок тихий, темный парк, он возвращался в комнатку свою и, тотчас же раздевшись и оставшись в одной нетленной нательной фуфайке, очень шедшей к его бакам, снова ложился спать и уже спал до утра.

В эту ночь, однако, старый сторож заметил кое-что ему не понравившееся. Он заметил из парка, что одно окно в замке слабо освещено. Он знал совершенно точно, что это окно той залы, где висят дорогие картины. Будучи стариком необыкновенно трусливым, он решил притвориться перед самим собой, что этого странного света он не заметил. Но добросовестность взяла верх: он спокойно рассудил, что его дело смотреть, нет ли воров в парке, а воров в доме он не обязан ловить. Так рассудив, старик со спокойной совестью вернулся к себе – он жил в кирпичном домике близ гаража – и сразу заснул мертвецким сном, которого не мог бы прервать даже потрясающий грохот новой черной машины, если бы кто-нибудь в шутку пустил бы ее в ход, нарочно открыв глушитель.

Так приятный безобидный старик, как некий ангел-хранитель, на мгновение проходит через этот рассказ и вскоре удаляется в те туманные области, откуда он вызван был прихотью пера.

8

Но в замке действительно кое-что случилось.

Ровно в полночь Симпсон проснулся. Он заснул только что и, как это иногда бывает, проснулся именно оттого, что уснул. Приподнявшись на руку, он посмотрел в темноту. Сердце его крепко и быстро билось от сознания, что в комнату вошла Морийн. Только что в своем мгновенном сне он говорил с нею, помогал ей подниматься по восковой тропе между черных скал, расколотых тут и там маслянистым лоском. Узкая белая наколка, как лист тонкой бумаги, чуть трепетала на темных ее волосах при дуновении сладкого ветра.

Симпсон, тихо охнув, нащупал кнопку. Брызнул свет. В комнате никого не было. Он ощутил удар пронзительного разочарования, задумался, покачивая головой, как пьяный, – и потом дремотными движениями встал с постели, принялся одеваться, вяло чмокая губами. Им руководило смутное чувство, что ему нужно быть одетым строго и нарядно; потому-то он с какой-то сонной тщательностью застегивал на животе низкий жилет, завязывал черный бант галстука, долго ловил двумя пальцами несуществующего червячка на атласистом отвороте жакета. Смутно помня, что проще всего можно проникнуть в галерею с улицы, он, как тихий ветер, выскользнул через французское окно в темный мокрый сад. Черные кусты, словно облитые ртутью, блестели под звездами. Где-то гукала сова. Симпсон легко и быстро шел по газону, между сырых кустов, огибая громаду дома. На мгновение свежесть ночи, пристальный блеск звезд отрезвили его. Он остановился, нагнулся, как пустое платье опустился на мураву в узком пространстве между цветником и стеною замка. Дремота навалилась на него; ударом плеча он попытался ее сбросить. Надо было торопиться. Она ждет. Ему казалось, что он слышит ее настойчивый шепот...

Он не заметил, как встал, как вошел, как включил свет, облив теплым блеском полотно Лучиано. Венецианка стояла к нему вполоборота, живая и выпуклая. Темные глаза ее, без сверкания, глядели ему в глаза, розоватая ткань рубашки особенно тепло выделяла смуглую

прелесть шеи, нежные складки под ухом. В правом уголку выжидательно сложенных губ застыла мягкая усмешка; длинные пальцы, по два расставленные, тянулись к плечу, с которого сползали мех и бархат.

И Симпсон, глубоко вздохнув, двинулся к ней и без усилия вступил в картину. Сразу закружилась голова от дивной прохлады. Пахло миртом и воском и чуть-чуть лимоном. Он стоял в какой-то голой черной комнате, у вечернего открытого окна, и совсем рядом с ним стояла венецианская настоящая Морийн, высокая, прелестная, вся изнутри освещенная. Он понял, что чудо случилось, и медленно потянулся к ней. Венецианка искоса улыбнулась, тихо поправила мех и, опустив руку в свою корзину, подала ему небольшой лимон. Не сводя глаз с ее заигравших глаз, он взял из ее руки желтый плод – и как только он ощутил его шероховатый твердый холодок и сухой жар ее длинных пальцев, невероятное блаженство вскипело в нем, сладко заклокотало. Вздрыгнув, он отвернулся к окну: там, по бледной тропе между скал, шли синие силуэты в капюшонах, с фонариками. Симпсон оглянул комнату, где он стоял, не чувствуя, впрочем, пола под ногами. В глубине, вместо четвертой стены – светила, как вода, далекая знакомая зала, с черным островом стола посередине. И тогда внезапный ужас заставил его стиснуть холодный маленький лимон. Очарование рассеялось. Он попробовал взглянуть налево, на Венецианку – но не мог повернуть шею. Он увяз, как муха в меду; дернулся и застыл, и чувствовал, как кровь его и плоть и платье превращаются в краску, врастают в лак, сохнут на полотне. Он стал частью картины, он был написан в нелепой позе рядом с Венецианкой, – и прямо перед ним, еще явственнее, чем прежде, распахивалась зала, полная земным, живым воздухом, которым отныне он дышать не мог.

9

На следующее утро Магор проснулся раньше обыкновенного. Босыми волосатыми ногами, с ногтями как черный жемчуг, он нашарил ночные туфли и мягко прошлепал по коридору к двери жениной спальни. Супружеских отношений между ними не было больше года, но он все равно каждое утро к ней приходил и с бессильным волнением смотрел, как она причесывается, сильно встряхивая головой и стрекоча гребнем по каштановому крылу натянутых волос. Сегодня в этот ранний час, войдя в ее комнату, он увидел, что постель убрана и что к изголовью пришпилен булавкой лист бумаги. Магор достал из глубокого кармана халата огромный футляр с очками и, не надевая их, а только приложив к глазам, наклонился над подушкой и прочел, что было написано знакомым мелким почерком на пришпиленном листе. Прочтя, он бережно вложил очки обратно в футляр, отколол и сложил лист, задумался на мгновение и потом, решительно шаркая туфлями, вышел из комнаты. В коридоре он столкнулся с лакеем, который испуганно взглянул на него.

– Что, полковник уже встал? – спросил Магор.

Лакей торопливо ответил:

– Да, сэр. Полковник в картинной галерее. Я боюсь, сэр, он очень сердится. Меня послали разбудить молодого господина.

Магор, не дослушав, запахивая на ходу свой мышиноного цвета халат, быстро направился в галерею. Полковник, тоже в халате, из-под которого спадали складками концы полосатых ночных панталон, ходил взад и вперед вдоль стены, усы его щетинились, и лицо, налитое багровой кровью, было страшно. Увидя Магора, он остановился, пожевал губами, примериваясь, и грянул:

– Вот, полюбуйте!

Магор, которому было мало дела до гнева полковника, все же невольно взглянул по направлению его руки и увидел действительно невероятную вещь. На полотне Лучиано, рядом с Венецианкой, появилась новая фигура. Это был отличный, хотя и наскоро сделанный портрет Симпсона. Тощий, в черном жакете, резко выступавшем на более светлом фоне, странно вывернув ноги, он протягивал руки, как будто в мольбе, и бледное лицо его было искажено жалким и безумным выражением.

– Нравится? – свирепо осведомился полковник. – Не хуже самого Бастиано, не правда ли? Мерзкий мальчишка! Отомстил мне за мой добрый совет. Ну, посмотрим...

Вошел растерянный лакей:

– Господин Франк не в своей комнате, сэр. И вещи его ушли. Господина Симпсона тоже нет, сэр. Он, вероятно, вышел пройтись, сэр, утро будучи так прекрасно.

– Утро будь проклято, – громыхнул полковник, – чтобы сию...

– Осмелюсь доложить, – робко добавил лакей, – что сейчас приходил шофер и сказал, что из гаража исчезла новая машина.

– Полковник, – тихо сказал Магор, – мне кажется, я могу объяснить вам, что случилось.

Он посмотрел на лакея, и тот на носках вышел.

– Вот в чем дело, – скучным голосом продолжал Магор, – ваше предположение, что именно сын ваш надписал эту фигуру, несомненно правильно. Но кроме того, я заключаю из записки, мне оставленной, что он на рассвете увез мою жену.

Полковник был британцем и джентльменом. Он сразу почувствовал, что выражать свой гнев в присутствии человека, от которого только что сбежала жена, неприлично. Поэтому он отошел к окну – одну половину гнева проглотил, другую выдул, пригладил усы и, успокоившись, обернулся к Магору.

– Позвольте мне, мой дорогой друг, – сказал он учтиво, – уверить вас в моем самом искреннем, самом глубоком сочувствии и не говорить вам о той злобе, которую чувствую по отношению виновника вашего несчастья. Но, несмотря на то что понимаю, в каком вы находитесь состоянии, я должен, я принужден, мой друг, попросить вас немедленно оказать мне услугу. Искусство ваше спасет мою честь. Сегодня приезжает ко мне из Лондона молодой лорд Нортвик, обладатель, как вы знаете, другой картины того же дель Пьомбо.

Магор поклонился.

– Я принесу нужные мне принадлежности, полковник.

Минуты через две он вернулся, все еще в халате, с деревянным ящиком в руках. Немедленно он открыл его, вынул бутылку нашатырного спирта, сверток ваты, тряпочки, скоблилки и сел за работу. Соскабливая и стирая с лака черную фигуру и белое лицо Симпсона, он не думал вовсе о том, что делает, – но о чем думал он, не должно быть любопытно читателю, умеющему уважать чужое горе. Через полчаса портрет Симпсона совершенно сошел, и сыроватые краски, составлявшие его, остались на тряпочках Магора.

– Изумительно, – сказал полковник, – изумительно. Бедный Симпсон исчез бесследно.

Бывает, что какое-нибудь случайное замечание толкает нас на очень важные мысли. Так и теперь Магор, собиравший свои инструменты, вдруг вздрогнул и остановился.

“Странно, – подумал он, – очень странно. Неужели...”

Он посмотрел на тряпки с приставшей к ним краской и вдруг, странно поморщившись, собрал их в кучу и бросил в окно, у которого работал. Потом провел ладонью по лбу, испуганно взглянул на полковника, который, иначе понимая его волнение, старался не глядеть на него, и с необычайной поспешностью вышел из зала, прямо в сад.

Там, под окном, между стеной и рододендронами, садовник, почесывая темя, стоял над человеком в черном, лежавшим ничком на мураве. Магор быстро подошел.

Человек двинул рукой и повернулся. Потом с растерянной усмешкой встал на ноги.

– Симпсон, Господь с вами, что случилось? – спросил Магор, вглядываясь в его бледное лицо.

Симпсон усмехнулся опять:

– Мне ужасно жалко... Так глупо... Я ночью вышел пройтись – и вот заснул, тут на траве. Ах, – ломит... Я видел чудовищный сон... Который час?

Садовник, оставшись один, неодобрительно покачал головой, глядя на примятый газон. Потом наклонился и поднял небольшой темный лимон с отпечатками на нем пяти пальцев. Он сунул лимон в карман и пошел за каменным катком, оставленным на теннисной площадке.

единственной загадкой во всем этом рассказе. Шофер, посланный на станцию, привез обратно черный автомобиль и записку от Франка, вложенную в кожаный карман над сиденьем.

Полковник вслух прочел ее Магору:

“Мой дорогой отец, – писал Франк, – я исполнил два твоих желания. Ты пожелал, чтобы в доме у тебя романтики не было, поэтому я уезжаю, увозя с собой женщину, без которой жить не могу. Ты пожелал также, чтобы я показал тебе образец моего искусства: поэтому я написал для тебя портрет моего бывшего друга, которому ты, кстати, можешь от меня передать, что доносчики мне только смешны. Я писал его ночью, писал с памяти, – и если сходство не совершенно, то виной тому недостаток времени, плохое освещение и понятная моя торопливость. Твой новый автомобиль работает прекрасно. Я оставляю его до востребования в станционном гараже”.

– Отлично, – прошипел полковник. – Только мне очень хотелось бы знать, на какие деньги ты будешь существовать.

Магор, бледный, как зародыш в спирту, кашлянул и сказал:

– Причины нет скрывать от вас правду, полковник. Лучиано никогда не писал вашей Венецианки. Это только изумительное подражание.

Полковник медленно встал.

– Это написал ваш сын, – продолжал Магор, и вдруг углы его рта стали дрожать и опускаться. – В Риме. Я ему достал полотно, краски. Он соблазнил меня своим дарованьем. Половина суммы, вами уплаченной, пошла ему. Ах, Боже мой...

Полковник, играя мускулами скул, посмотрел на грязный платок, которым Магор тер глаза, и понял, что бедняга не шутит.

Тогда он обернулся и посмотрел на Венецианку. На темном фоне светился ее лоб, мягко светились длинные пальцы, рысий мех прелестно спадал с плеча, в уголку губ была тайная усмешка.

– Я горжусь моим сыном, – спокойно сказал полковник.

Сентябрь 1924

11. ДРАКОН

Он жил безвыходно во мгле глубокой пещеры, в самом сердце скалистой горы, где вся его пища состояла из летучих мышей, крыс да плесени. Иногда, правда, в пещеру заглядывали искатели сталактитов, пронырливые путешественники, – и это было вкусно. Приятно также было вспомнить разбойника, пытавшегося спастись там от правосудия, и двух собак, которых однажды пустили туда, чтобы проверить, не сквозной ли это ход через всю горную тропу. Природа кругом была дикая, на скалах там и сям лежал ноздреватый снег, холодным грохотом гремели водопады. Вылупился он около тысячи лет тому назад, – и, быть может, потому, что это случилось несколько внезапно, – огромное яйцо расколол в бурную ночь удар молнии, – дракон вышел трусливый и глуповатый. Кроме того, сильно на него повлияла смерть матери... Она давно наводила ужас на соседние селения, харкала пламенем, король сердился, у логовища ее постоянно рыскали рыцари, которых она разгрызала, как орехи. Но однажды, когда, проглотив жирного королевского повара, она уснула на согретой солнцем скале, к ней подскакал сам великий Ганон в железных латах, на вороном коне под серебряной сеткой. Бедняжка спросонья взвилась на дыбы, вспыхнув кострами зеленых и красных горбов; – и рыцарь, налетев, вдвинул стремительное копьё в ее гладкую, белую грудь, она рухнула, и тотчас же из розовой раны вылез боком толстый повар с ее огромным, дымящимся сердцем под мышкой.

Молодой дракон все это видел, спрятавшись за скалу, и с тех пор не мог без содроганья думать о рыцарях. Он удалился в глубину пещеры, никуда оттуда не выглядывал. Так прошло десять веков – двадцать драконьих лет.

И вдруг он стал тосковать нестерпимо... Дело в том, что несвежая пещерная пища вызывала жесточайшие желудочные тревоги, противное урчанье и боль. Девять лет он решался и на десятый год решился. Медленно и осторожно, вбирая и расправляя кольца хвоста, он

вылез из своей пещеры.

И сразу почувствовал: весна. Черные скалы, омытые недавним ливнем, блистали, в разливе горного потока кипело солнце, в воздухе пахло дичью. И дракон, широко раздувая горящие ноздри, стал спускаться в долину. При этом его атласистый, белый, как водяная лилия, живот почти касался земли, на раздутых зеленых боках выступали багровые подтеки, и крепкая чешуя переходила на спине в острый пожар - в хребет двойных рдяных горбов, уменьшавшихся к хвосту, который мощно и гибко шевелился. Голова была гладкая, зеленоватая, пузыри огненной слизи свисали с нижней губы, мягкой и бородавчатой, - и исполинские чешуйчатые лапы оставляли глубокие следы, звездообразные ямы. Спустившись в долину, первое, что увидел он, был поезд, бегущий вдоль скалистых скатов.

Дракон сперва обрадовался, приняв поезд за родственника, с которым можно поиграть; к тому же он подумал, что под блестящей, твердой на вид роговиной кроется нежное мясо. Поэтому он пустился вдогонку, гулко и сыро шлепая ступнями, но только хотел хапнуть последний вагон, как поезд влетел в туннель. Дракон остановился, сунул голову в черную нору, куда ушла добыча; пролезть было невозможно. Он два раза жарко чихнул в глубину, вобрал голову и, сев на задние лапы, принялся ждать - авось опять выбежит. Прождав некоторое время, он мотнул головой и отправился дальше. В это мгновение из черной норы выскочил поезд, хитро блеснул стеклами и скрылся за поворот. Дракон обиженно посмотрел через плечо и, подняв хвост трубой, продолжал свой путь.

Вечерело. Над полями плыл туман. Исполинского зверя, живую гору, видели крестьяне, возвращавшиеся домой, и, ошалев, застыли, - а у маленького автомобиля, мчавшегося по шоссе, со страху лопнули сразу все четыре шины, и, подпрыгнув, он угодил в канаву. Но дракон все шел и шел, ничего не замечая; издали тянуло горячим запахом сосредоточенных человеческих толп - и туда-то он и стремился. И вот на широкой синеве ночного неба выросли перед ним черные фабричные трубы, стерегущие большой фабричный город.

Главными лицами в этом городе были двое: владелец табачной фирмы "Чудо" и владелец табачной фирмы "Большой шлем". Между ними горела давняя изощренная вражда, о которой можно было бы написать целую эпическую поэму. Соперничали они во всем: в пестроте реклам, в приемах их распространения, в ценах, в отношении к рабочим, - но никто не мог определенно сказать, на чьей стороне перевес.

В ту знаменательную ночь владелец фирмы "Чудо" очень поздно засиделся у себя в конторе. Рядом на столе лежала кипа новых, только что отпечатанных реклам, которые на рассвете артельщики должны были расклеить по городу.

Вдруг в тишине ночи пролетел звонок, и через несколько мгновений вошел тощий бледный человек с бородавкой вроде репейника на правой щеке. Фабрикант его знал: это был содержатель образцового кабака на окраине, сооруженного фирмой "Чудо".

- Второй час, мой друг. Ваш приход могу оправдать только событием неслыханной важности.

- Так оно и есть, - сказал кабатчик спокойным голосом, хотя бородавка его прыгала. И он рассказал следующее.

Он выпроваживал из кабака пятерых старых рабочих, в лоск пьяных. Выйдя на улицу, они, вероятно, увидели нечто весьма любопытное, ибо все рассмеялись.

- О-го-го, - захрохотал голос одного из них. - Я, должно быть, выпил лишнего, если вижу наяву гидру контрр...

Он не успел закончить. Нахлынул страшный, тяжелый шум, кто-то крикнул, кабатчик выглянул. Чудовище, поблескивающее во мраке, как мокрая гора, глотало, закинув морду, что-то крупное, от чего белесая шея его вздувалась переливающимися буграми; проглотив, оно облизнулось, качнулось всем телом и мягко опустилось посреди улицы.

- Я думаю, оно задремало, - досказал кабатчик, остановив пальцем прыгающую бородавку.

Фабрикант встал. Вдохновенным золотым огнем брызнули его крепкие пломбы. Появление живого дракона никаких других чувств в нем не возбудило, кроме страстного желания, которым он во всем руководился: победить вражескую фирму.

- Эврика! - воскликнул он. - Вот что, дорогой друг, есть ли еще свидетели?

- Не думаю, - отвечал кабатчик. - Все спали, и я решил никого не будить и прямо по-

шел к вам. Во избежание паники.

Фабрикант надел шляпу.

- Отлично. Берите вот это, - нет, не всю кучу, - листов тридцать-сорок; и вот эту банку захватите, да, - и кисть тоже. Так. Теперь ведите меня.

Они вышли в темную ночь и скоро добрались до тихой улицы, в конце которой, по словам кабатчика, лежало чудовище. При свете одинокого желтого фонаря они сперва увидели полицейского, стоявшего на голове среди мостовой. Впоследствии оказалось, что, совершая свой ночной дозор, он наткнулся на дракона и так испугался, что перевернулся и окаменел. Фабрикант, человек рослый и сильный, как горилла, поставил его прямо и прислонил к фонарному столбу; затем подошел к дракону. Дракон спал, да и немудрено. Проглоченные им лица оказались насквозь пропитанные вином и сочно лопнули у него в пасти. Хмель натошак бросился ему в голову, и, блаженно улыбнувшись, он опустил пленки век. Лежал он на брюхе, подогнув передние лапы, и свет фонаря выхватывал блестящие дуги его двойных горбов.

- Поставьте лесенку, - сказал фабрикант кабатчику. - Я сам буду клеить.

И, не торопясь, выбирая ровные места на склизких, зеленых боках чудовища, он стал мазать кистью по чешуйчатой коже и прижимать к ней просторные листы реклам. Используя все листы, он значительно пожал руку смелому кабатчику и, пожевывая сигару, вернулся к себе домой.

Настало утро, великолепное, весеннее утро, смягченное сиреневой поволокой. И внезапно на улицах поднялся веселый взволнованный шум, зазвенели двери, оконные рамы, люди высыпали на двор, мешаясь с теми, которые смеялись и стремились куда-то. Там, вяло шлепая по асфальту, шествовал дракон, совершенно как живой, весь оклеенный цветистыми рекламными. Одна из них даже прилипла к его гладкому темени. "Курите только "Чудо"", - ликовали синие и пунцовые буквы реклам. "Кто не курит моих папирос - дурак". "Табак "Чудо" превращает воздух в мед". "Чудо" - "Чудо" "Чудо"!

- Действительно - чудо! - смеялась толпа, - И как это устроено машина или люди?

Дракон чувствовал себя отвратительно после невольной попойки. От этого скверного вина его теперь поташнивало, во всем теле была слабость, и о завтраке нечего было и думать. К тому же им теперь овладел острый стыд, мучительная робость существа, впервые попавшего в толпу. По совести говоря, ему очень хотелось поскорее вернуться к себе в пещеру, но это было бы еще стыднее, - и потому он продолжал мрачно шествовать через город. Несколько человек с плакатами на спинах охраняли его от любопытных - от мальчишек, норовивших пройти под его белый живот, вскарабкаться на высокий хребет, тронуть морду. Играла музыка, из всех окон глазели люди, сзади дракона гуськом ехали автомобили, в одном из них сидел, развалившись, фабрикант герой дня.

Дракон шел, ни на кого не глядя, смущенный тем непонятным весельем, которое он вызывал.

А в светлом кабинете, по мягкому, как мох, ковру шагал взад и вперед, сжимая кулаки, другой фабрикант - владелец фирмы "Большой шлем". У открытого окна, глядя на шествие, стояла его подруга, маленькая канатная плясунья.

- Это возмутительно! - кричал фабрикант - пожилой лысый человек с сизыми мешками дряблой кожи под глазами. - Полиция должна была бы прекратить такое безобразие... И когда он успел смастерить это чучело?

- Ральф! - воскликнула вдруг плясунья, хлопнув в ладони. - Я знаю, что ты должен сделать. У нас в цирке идет номер "Турнир", и вот...

Она жарким шепотом, тараща подведенные кукольные глаза, рассказала ему свой план. Фабрикант просиял. Через мгновение он уже говорил по телефону с директором цирка.

- Так, - сказал фабрикант, повесив трубку. - Чучело-то из надутой резины. Посмотрим, что останется от него, если ткнуть его хорошенько...

Дракон, меж тем, прошел через мост, мимо базара, мимо готического собора, возбуждавшего в нем неприятнейшие воспоминания, затем по главному бульвару, и переходил через широкую площадь, когда, рассекая толпу, навстречу ему внезапно явился рыцарь. Рыцарь был в железных латах, с опущенным забралом, с траурным пером на шлеме, и лошадь его была тяжелая, вороная, в серебряной сетке. Оруженосцы - женщины, одетые па-

жами, - шли рядом - на картинных наскоро сделанных знаменах стояло: "Большой шлем", "Курите только "Большой шлем"", ""Большой Шлем" побеждает всех". Цирковой наездник, изображавший рыцаря, дал шпоры коню и крепче сжал копые. Но конь почему-то стал пятиться, брызгал пеной, и вдруг встал на дыбы и тяжело сел на задние ноги. Рыцарь бухнулся на асфальт, так загремев, словно выбросили из окна всю кухонную посуду. Но дракон не видел этого. При первом движении рыцаря он внезапно остановился, потом стремительно повернул, причем сшиб ударом хвоста двух любопытных старушек, стоявших на балконе, - и, давя рассыпающихся людей, пустился в бегство. Одним духом он выбежал из города, понесся полями, вскарабкался по скалистым скатам и влетел в свою бездонную пещеру. Там он свалился навзничь, согнув лапы и показывая темным сводам свое атласистое, белое, вздрагивающее брюхо, глубоко вздохнул и, закрыв удивленные глаза, - умер.

1924

Впервые: "Звезда" (Санкт-Петербург), 1999, №4